

Кр.Д.  
Р-998

В. РЯХОВСКИЙ

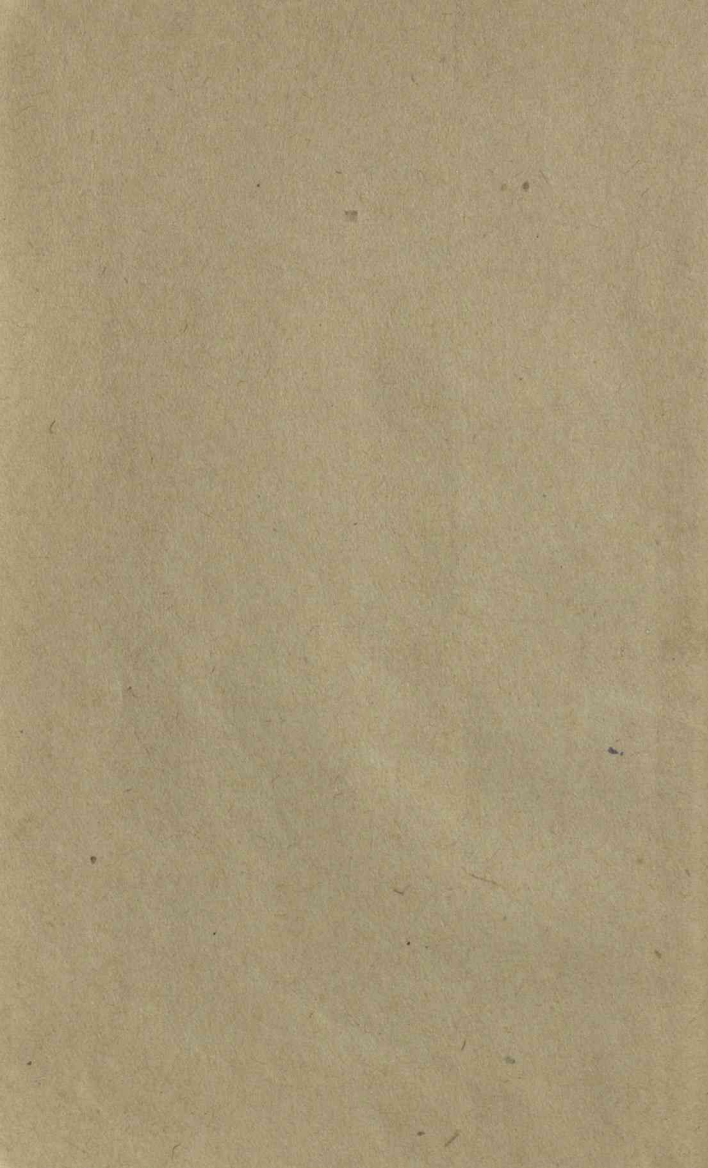


**ДОРОГА  
В ГОРОД**



Handwritten text on a piece of paper, possibly a receipt or note, written in a cursive script. The text is mirrored, suggesting it was written on the reverse side of the paper. The visible words include "K.P.S.", "18", and "1918".





Р-998  
Д. 691.

КрД

В. РЯХОВСКИЙ

# ДОРОГА В ГОРОД

с-9794Н.



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА  
1941

43

Художник Е. Кривинская

Ответственный редактор *Н. Чертова*

---

А33089. Подписана к печати 17 декабря 1940 г. Печатных листов  
Авторских листов 8,74. Бумага 70×92<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Количество печ. знаков в листе 46820 С. П. № 243  
Заказ № 2145. Тираж 10 000. Цена 4 р. 5

---

11-я типография и школа ФЗУ МОМП. Москва, 2-я Рыбинская,  
Отпечатано в школе ФЗУ ОГИЗа треста „Полиграфкнига“.  
Москва, Хохловский, 7.

## Братья

### 1

**А**лексей рано лишился матери.

Мачеха невзлюбила пасынка, и отец, чтобы хоть как-нибудь оправдать в глазах молодой жены существование мальчика, отдал его в пастухи. Поле сделало Алексея на всю жизнь неразговорчивым, и оно же научило его играть на жалейках. Ржаные соломинки, тростниковые дудки превращались в его руках в чудесные флейты, и он выдувал из них пленительные перебивы грустных песен. Жалейки смягчали сердце и вознаграждали его перед сверстниками, презиравшими деревенского оборвыша-пастуха.

За игру на жалейках и прилюбил Алексея богатый сосед Филипп Степанов, мироед, в пьяном виде имевший большую склонность к незатейливой музыке.

На шестнадцатом году Алексей потерял отца и мачеху. Они умерли в один день, унесенные повальной горячкой. На попечении Алексея остались сестра Уляшка и последыш, неродной по матери брат Илюшка, в котором он не чаял души.

Молодой пастух не смел и думать о том, что

когда-нибудь он породнится с богачом Филиппом Степановым, который в трезвом виде не достаивал Алексея даже взглядом. Но случилось несчастье, и оно определило судьбу пастуха.

У Филиппа было семь дочерей и сын Яков. Двух старших дочерей Филипп выдал замуж, Яков вел хозяйство, готовясь стать главой в доме. И вот, в вешний разлив Яков утонул, переправляясь в худой лодке через Дон. Начиналась пахота, сам Филипп давно разучился ходить за сохой, приходилось спешно искать работника. И не успели съесть по утопленнику кутьи, как Филипп завел речь о свадьбе третьей дочери. Он рассудил так: сына не вернешь, на наемном работнике долго не продержишься, надо искать и работника, и молодого хозяина. В спешке трудно было найти хорошего жениха, поэтому остановились на пастухе, полагая, что чужой кусок хлеба приучил Алексея к смирению и что он не пойдет против власти нареченных родителей.

Филипп призвал к себе Алексея и без обиняков сказал:

— В другое время я б тебя не пустил в избу, а сейчас мною нужда повелевает. Видно, пользуйся своим счастьем, бросай свою хибарку и переходи в мои хоромы. Вот тебе невеста.

Алексей оглянулся на Аксинью, третью дочь Филиппа. В глазах его мелькнула растерянность, но он сейчас же взял себя в руки:

— Не думал я об этом деле. Но могу сказать, что согласен. Кнут-то не сладок.

— Тогда присылай сватов. Честь соблюсти я должен, хоть и покупаю себе зятя сам.



Свадьбу сыграли на скорую руку. Алексей привел с собой в новый дом только Илюшку, которому доходил шестой год. Сестру минувшей зимой он выдал замуж.

Окруженный насмешливыми девками, напуганный свирепым хозяином, Илюшка жался к брату, ездил с ним в поле, в ночное, а когда Алексей уезжал куда-нибудь один, он убегал к своей заколоченной избе и там проводил дни. Алексей жалел брата, не давал его в обиду девкам, и, сам еще не освоившийся в чужом доме, часто отводил душу, мечтая с Илюшкой о том, как соберется он с силами, возьмет его и Аксинью и перейдет с ними в свою избу.

Илюшка оказался камнем преткновения между Алексеем и старым Филиппом. Когда один раз старик ударил Илюшку за обедом черенком ножа, Алексей выразительно положил ложку на стол и вытер брату мокрый нос.

— Что? — вскинулся на него Филипп. — Не нравится, что обидел твое приданое? Ну, я еще с милостью, другой на моем месте давно бы вышвырнул эту дарёнку на ветер.

Алексей придвинул к себе брата и достал ему из общей миски самый большой кусок мяса:

— Ешь-ешь! Мы тоже не маленькое приданое обрабатываем.

Четыре незамужних дочери молча посмотрели на отца. Намек на лишние девичьи рты, на будущие свадебные расходы был чересчур прозрачен. Филипп вылез из-за стола. Сопrotивление Алексея потрясло его своей неожиданностью. Он уступил и тем навсегда лишил себя превосходства над молодым хозяином.

Во время женитьбы Алексею было девятна-

дцать лет. От роду не имевший своего хозяйства, он с жадностью погрузился в работу, не знал ни праздников, ни буден, спал неизвестно когда, и этот рабочий напор зятя совсем обескуражил любившего увильнуть от дела старика. Незаметно для самого себя он отрешился от хозяйства, перешел жить на печь и стал ждать смерти.

С первого дня замужества Аксинья почувствовала, что Алексей женился на ней потому только, что некуда было деваться. Сначала она надеялась на то, что со временем они друг к другу привыкнут, но потом и эта надежда улетела, как дым. Она не была красавицей. Худая и смуглолицая, она держалась на людях робко, не вступала в разговоры и готова была по первому знаку услужить всем и каждому. Сестры командовали ею, как хотели, они требовали от нее помощи на приданое, старались натравить ее на Алексея, которого сами боялись, как огня. И Аксинья, в первое время доверчиво расположенная к мужу, готовая полюбить его за одно ласковое слово, скоро поняла, что жадные и вздорные сестры отняли у нее всякую надежду на мужнину любовь: Алексей не скрывал своей ненависти к девкам, а жену считал их потатчицей и относился к ней с хмурым недоверием. Аксинья начала бояться Алексея, оттого пуще терялась в его присутствии, казалась неловкой в работе.

Шли годы. Сестры Аксиньи давно были выданы замуж, померли старики, и никто не мешал Алексею быть полновластным в доме хозяином. Но он не переменял своего отношения к запуганной жене.

У них росли дети — старшему сыну шел уже тринадцатый год, — но Алексей как будто не замечал их, разговаривал только с братом, которого попрежнему жалел больше всего на свете.

На девятнадцатом году Илью женили. Жену ему взяли из небогатого дома, в соседнем селе. Сватом был сам Алексей. Невеста жила рядом с тем домом, куда была выдана Уляшка, и, навещаясь к сестре, Алексей давно имел возможность приметить красивую девушку. Кто знает, не потому ли он остановился на Марье, что с первого взгляда ему приглянулось белое, тонкое лицо, прямой точеный нос и голубые, небесного цвета, глаза девушки? На свадьбе он не отводил от нее взгляда, жестоко напился и, проводив гостей, избил Аксинью.

Молодые выглядели складной парой. Подобно брату, Илья был невысокого роста, широк в кости, круглолиц. Различие матерей отразилось только на цвете волос братьев. В отличие от светлого Алексея Илья был черноглазым. Он часто улыбался, обнажая крепкие, ослепительно белые зубы. Эта постоянная улыбка Ильи обнаруживала, что молодой мужик не борз умом, ненаходчив, и от такого мужа немного радости получит приведенная в дом жена.

Алексей раньше всех заметил скуку в глазах Марьи. Первое время он делал вид, что не замечает Марьи, старался реже бывать дома, но, возвращаясь, видел, что Марья скучна и что брат не обращал на жену никакого внимания. Втайне довольный этим, Алексей стал чаще, чем следует, бранить брата: глупая улыбка Ильи, ранее вызывавшая жалость к сироте, теперь рождала желание ударить его кулаком по зубам.

Марья взглядывала на Алексея понимающими глазами. Он обрывал свою речь на полуслове, задерживал дыханье и растерянно хватался за отросшую бороду.

Недовольство братом мало-помалу перерастало в ненависть. Теперь Алексей не мог слышать чавканья Ильи за обедом. Когда тот нескладно вступал в разговор с чужими людьми, он резко обрывал его. И ни у кого не вызывало подозрений открытое стремление Марьи угодить Алексею: на ее месте всякая женщина постаралась бы задобрить старшего в доме. Умная и сдержанная Марья умела завести с Алексеем разговор, понимала шутку и смеялась так певуче, с таким журчанием в голосе, что Алексей взглядывал на нее испуганными глазами и уходил как будто по делам. Но разговоры становились все более частыми. Никогда соседи не видели Алексея таким разговорчивым, веселым и отзывчивым, как в ту весну. Теперь все неволью догадывались о причине такой перемены в характере замкнутого и прижимистого человека. А он думал, что никто не замечает, как он всячески старался проводить Илью в поле, а сам целыми днями возился в риге, в саду, то и дело призывал себе на помощь молодую, и та мелькала по саду, вертя расшитым подолом.

Года через два после женитьбы Илью взяли в солдаты. Алексей развязал заветный кошель и снарядил брата в царскую службу не хуже богатых рекрутов. Соседи ждали, что бездетная солдатка не станет работать на чужих детей, уйдет к своим родным. Но этого не случилось. Марья плакала об Илье только для вида, а как только тронулся длинный воинский поезд, вытерла глаза

и ехала из города веселая, разговаривала с Алексеем так, словно они возвращались с праздничного торга.

Солдатчина Ильи заставила Алексея поспешить с женитьбой старшего сына, которому не сравнялось еще законных восемнадцати лет.

Когда Алексей подыскал ему невесту, Акуинья робко сказала:

— Не рано ли, мужик? Ведь он же совсем несмысленек...

Алексей обжег ее косым взглядом:

— Небось, не рано! Ты со своими щенятами крутишься, а кто в поле работать будет?

Молодую сноху взяли из хорошего дома, но скоро поняли, что прогадали. Сырая и белолицая, молодая вскоре после свадьбы поехала в больницу, начала мазаться разными лекарствами, и в избе от них появился тяжелый, тошнотворный дух.

Но хворь не мешала молодой присматриваться к жизни своей новой семьи. Скоро она сказала Акуинье:

— Как же это ты, матушка, не видишь? Ведь батюшка с Марьей живут, как повенчаные.

Акуинья тихо заплакала и попросила молодую не разглашать позора и не мутить без того мутной ее жизни. Молодая обещала, а сама не перестала следить за Марьей, подмечала взгляды Алексея и иногда появлялась там, где ее вовсе не ждали. Алексей скрипел зубами. Он возненавидел жену сына мрачной ненавистью.

Старая усадьба, что лежала через два поместья от степановского, по неписаному согласию считалась собственностью Ильи. Разваленная отцовская изба давно пошла на топку, и на

месте былых построек росла буйная крапива. Алексей знал, что рано или поздно ему придется с братом делиться, и на старой усадьбе надо будет строить новую избу, дворишко, куда должен будет выселиться Илья. Большие траты пугали его, и потому он гнал от себя эту мысль, втайне надеясь, что, авось, дело обойдется и так.

Но вскоре после женитьбы Михаила Марья сама заговорила с Алексеем:

— В одном доме мы век не свекуем, и делиться не миновать. Вот отслужится мой сокóл ясный — куда нам деваться? У тебя своя семья вырастает, того гляди внуки пойдут — разве нам найдется тут место? Ты бы заранее подумал. Если не для брата, то хоть для меня...

Она говорила это без той раздражающей жалостливости, которая неизбежно вызывает сопротивление. Эта спокойная уверенность Марьи в том, что он не посмеет отказать ей, покоряла Алексея. Он смотрел на нее, готовый выполнить любое ее желание. Стройная, как девка, Марья мелькала перед ним, обжигала его взглядом. Для Марьи он, сорокалетний отец семерых детей, забыл стыд и, как бездомный, веселый пастух, играл по вечерам на жалейках, выходил даже на луговину, где собиралась молодежь. Он играл старые песни, выдумывал новые, слышал в этих песнях свою возвращенную молодость и все время смотрел на Марью, притихавшую от его песен.

И словно расплачиваясь за короткие минуты счастья, дома Алексей лютовал без меры, набрасывался на жену, на старшего сына и на его молодую жену.

Наконец Алексей приступил к стройке. Он навозил на старую усадьбу кирпичей, нанял каменщиков, и к осени здесь выросла кирпичная, в два окна на улицу, изба и каменный дворик. Алексей уж присмотрел для покупки лес, потребный на выделку избы, и отобрал из нового урожая солому на крышу.

Между тем молодая сноха, которой не давали покоя расходы на стройку, продолжала нашептывать Аксинье, вооружала ее против Марьи.

Она давно заметила, что Алексей очень настораживался, когда в избе затевался разговор о колдунах, приворотях, наговорном зелье.

Грамотная, она часто вступала в разговор мужиков, набивавшихся по вечерам в избу, и, путая прочитанное в книжках с выдумкой, говорила:

— А бывает еще и так...— Она искоса следила за свекром.— Нужен какой-нибудь женщине чужой муж, так она исхитрится, положит ему в еду— есть такой наговорный корень— и, как тот съест, то начинает терять свой покой...

Алексей нервно проводил пальцем по пояску, и лицо его, всегда жесткое, вдруг принимало растерянное выражение.

— И тогда что хочешь делай— шабаш!— продолжала сноха, уловив тревожный взгляд Алексея.— Становится человек сам не свой. Куда его поведут, туда и пойдет, что попросишь, все и отдаст.

— Не на всякого и колдовство влияет!— сказал однажды Алексей и по привычке попытался пресечь разговорчивую сноху:— А ты перестала бы молоть. Речистая!

Но в голосе его не было обычной строгости, что замыкала рот семейным.

Эта слабость Алексея и навела молодую сноху на мысль расстроить его дружбу с Марьей.

— Только это и стается, матушка,— принялась она убеждать Аксиныю.— Если с умом подстроить, он ее, глядишь, и отмахнет.

— А ну-ка догадается?— со страхом сказала Аксиныя.— Тогда нам с тобой с глаз беги.

— Надо так, чтобы не догадался. А про нас с тобой и говорить нечего, и без того с глаз готовы скрыться. Разве это жизнь?

— А как же Марья-то...

— Ей тоже колдуньей прослыть не захочется. Живо из дома сбежит, попомни мое слово.

И однажды они решились осуществить свой план.

Марья в этот день была в доме деньщицей. Алексей в тот день рассевал в поле рожь. Он вернулся домой под вечер, и ему одному собрали обед.

Усталый, Алексей не обратил внимания на то, что Марья была бледнее обычного и в глазах ее поблескивал испуг. Аксиныя с невесткой напряженно сидели на лавке, положив на колени руки.

Марья поставила на стол миску щей. Алексей взялся за ложку, когда жена сына вдруг приблизилась к столу и, заглянув в миску, обернулась к Марье:

— Что это ты накрошила, лук, что ли?

— Какой там лук! — небрежно ответила из чулана Марья.

Алексей положил ложку и встал из-за стола. Ему вдруг вспомнились рассказы о приворотах,



о колдовском зелье, и неожиданная мысль о том, что Марья хочет насильно привязать его к себе, потрясла его.

И Марья догадалась. Она слишком хорошо знала своего грозного деверя: он никогда не простит ей покушения на его волю.

С этой минуты она не промолвила с Алексеем ни одного слова. А через неделю она выправила себе паспорт и уехала в Москву.

В новой избе заложили глазницы, и по улице наглухо заплели высокий плетень.

## 2

Об Илье говорили в семье как о потерянном человеке. Одна Аксинья искренно жалела его: — Несчастный наш Илюшенька. Рос сиротой и вовек не увидит счастья.

При всяком разговоре о заблудшем брате Алексей говорил со злобой:

— Слоняется по Москве, поганец! Другие люди на побывку приезжают, денег родным шлют, а его там чорт носит!

В Москву Илья попал тотчас же по возвращении из солдатчины. Когда он, гладко выбритый и подтянутый, блестя медью пуговиц и поясной бляхи, вошел наконец в дом брата, он сразу понял, что Марьи нет дома и без него здесь что-то случилось.

— А где же моя баба? — спросил он.

Алексей торопливо усадил брата за стол и налил ему большой стакан водки. Илья молодецки осушил стакан, еще раз оглядел углы избы и спросил брата тише:

— Алеша, не томи за-ради бога. Где моя Марья?

И опять смолчал Алексей. Скоро Илья запьянел и полез на брата с кулаками. Алексей цыкнул на него, и Илья, памятуя былой страх перед братом, прикусил язык и принялся плакать.

Тогда Алексей сказал:

— Твоей бабе мы не караульщики. Вздумала и ушла. А ты сдуру привязываешься В Москве она.

Илья пропьянствовал с неделю, продал кабатчику свои солдатские сапоги, зеленый сундучок с царским орлом на крышке и ушел в Москву.

После были слухи, что Марью свою он разыскал. Та служила прислугой у вдовы-генеральши, жилось ей сытно, она нарядно одевалась и гнушалась встреч с односельчанами. Илья приладил в ломовые и стал часто навещать жену. Первое время Марья терпела его, тайком от барыни угощала на кухне, но он скоро ей надоел. Илья вздумал было по-деревенски поучить жену, потянулся к ее косам, но Марья не далась и при помощи дворника вышибла мужа за дверь. После Илья умолял ее, грозил околоточным. Марья осталась непреклонной. Тогда он бросил место, начал пьянствовать и попал на Хитровку.

Лет через пятнадцать опять пошли слухи о Марье. Люди сказывали, что старуха-генеральша померла, оставив верной слуге десяток платьев и рублей сто денег. Нового места Марья искать не стала. К этому времени одна из ее сестер собралась ехать на вольные сибирские земли, у сестры было много детей, и Марья решила связать с ней свою судьбу, собралась в дальний путь от незадачливо сложившейся жизни в родных местах.

Стоял август. В садах зрела антоновка, и ярые яблони роняли последние, разбивающиеся о звучную землю плоды. Алексей, тронутый крепкой сединой первой старости, но все еще прямой и кряжистый, — мастерил что-то у дубового пня и иногда отрывался от дела, брал в руки длинный шест и принимался выскивать для внука спелое яблоко. За этим занятием его и застала Аксинья. Она позвала его:

— Марья пришла, старик. У двора стоит. Иди!

У крыльца, к которому сбежались праздные соседи, стояла Марья. Она была одета в синюю, городского покроя, кацавейку, на ногах ее поблескивали козловые башмаки. Тонкий вязаный платок, которым она была покрыта, плотно обрамлял ее чистое, чуть тронутое пучками морщин лицо.

Марья разговаривала с бабами, когда Алексей вышел на крыльцо. Ничем не выдала она своего волнения, только чуть-чуть вздрогнули ее ресницы и на белые щеки пал тонкий румянец.

Алексей почему-то снял шапку и перебирал ее в дрожащих руках. Он видел, как Марья в ноги поклонилась Аксинье, как та подняла ее и они склонились друг к другу, несчастные каждая по-своему, и плакали об ушедшей молодости. Вот Марья оторвалась от Аксиньи и, не поднимая своих тихих, все еще прекрасных глаз, ступила на крыльцо. Он испуганно попятился и сел на лавку. Марья опустилась перед ним на колени. Алексей растерянно огляделся, потом застонал, приподнял Марью, обнял ее и прильнул к ее лицу волосатым ртом. Он гладил ее щеки, голову и не скрывал своих слез. Потом, словно

сраженный горем, он повалился на пол и охватил руками ноги Марьи.

Усадьба и душевая земля Ильи запахивалась Алексеем. Шло это из года в год, и никто над этим не задумывался. У Алексея подрастал второй сын. Два сына — готовы две усадьбы, — этот закон Алексей знал не хуже каждого.

В дом к нему теперь часто заходил муж его дочери, служивший в сельских писарях. Это был худой, спившийся на мирской водке человек, в совершенстве владевший тонкостями судебной волокиты и крючкотворства.

— Как же быть мне? — спросил один раз Алексей писаря. — А вдруг Илюшка явится. Ведь придется отдавать ему землю и усадьбу. Вся душа во мне перевертывается. Ребята весь век вместе жить не будут, надо каждому готовить поместье. А чего ж искать его, когда оно под боком? Пслитай ты со мной голову над этим.

Законник-писарь предложил:

— Надо совершить на эту усадьбу запродажную запись. Илья Макарович все равно в деревне жить не будет, потому согласится. Ну, а если станет упираться, можно его этого-того...

— Да где же его сейчас разыщешь? Кабы он тут был!

— Надо разыскать.

Эта беседа встревожила Алексея. Всю осень он думал, а по перевозимку старший сын его Михаил собрал в узел новую шубу, валенки, смену рубах и тронулся в Москву.

Запасную одежду он взял по приказу отца.

— Небось, оборвался там в [клячья. Най-

дешь,—стыдно по селу провести. Возьми! Лишняя ноша не тянет.

Домой он вернулся после Нового года. Вместе с ним в избу вошел широкоплечий, чернобородый человек. Улыбнувшись, он показал широкую щербину в верхней челюсти, и лицо его сразу стало добродушным и глуповатым.

— Дядюшка, входи, что же ты? — пригласил его Михаил. — Раздевайся. Теперь, слава богу, доехали.

Алексей встретил брата торжествующей усмешкой:

— Эка, брат, какой ты молодец стал!

Илья смущенно улыбнулся:

— Она, Москва-то, не пошутит...

Говорил он гнусаво, неразборчиво, словно нос у него был забит паклей.

— Что это у тебя завалило? Дурную не подцепил ли? — насторожился Алексей.

Илья окончательно растерялся. Его выручил Михаил. Вытирая свою, соломенного цвета, бороду, он с сожалением глянул на дядю:

— Какая там дурная! Как он в Москве жил — не приведи того лихому лиходею. Рванный, в опорках. Три недели искал я его, ходил по разным притонам. Где ни спрошу — все нет и нет. Хотел уж домой собираться. Тут мне сказали, что в одном месте артель золоторотцев ямы чистит. Не там ли — думаю. Пошел. Прихожу. Смотрю, они возятся в яме, как черти какие-нибудь. Спрашиваю тех, что наверху работают: «Такого-то, мол, нету?» — «А черти его знают, — говорят. — Может, и есть. Мы имен не помним, гляди по мордам». Стал я глядеть — и напал на дядюшку. Стоит он в яме по пояс в

грязи, сверху на него течет. «Дядюшка,— говорю я,— ты ли это?» Он поглядел на меня, бросил лопату, да как заплачет...

Во время рассказа Илья стоял, опустив голову. На лице у него выступили капли пота.

— Что вы его тираните? — вступилась Аксинья. — С дороги проголодался человек, а вы из него жилы выматываете. Было и прошло. Теперь дома. Иди-ка, Илюша, разденься. Сейчас я на стол собираю.

Два дня в доме шла гульба. На пьяные песни стекались соседи. Выпив стаканчик, другой, они расспрашивали Илью о московской жизни.

Он, надрывая слабый голос, врал им, и, по его словам, выходило, что он в Москве чуть ли не ездил в карете.

В деревне Илья прожил недели три. За ним ухаживали наперебой, он не садился за стол без водки, каждую неделю для него топили баню.

За это время написали запродажную запись. Илья в пьяном виде приложил руку, не обратив внимания на то, что подписывался в получении трехсот рублей наличными деньгами. Наконец его снарядили в дорогу и отвезли на станцию. Новую шубу заменили перешитым полушубком и валенки дали ему подшитые. «Все равно пропьет», — решил Алексей и убрал новую одежду в кладовую.

Снова на родине Илья появился лет через пять. Он пришел со станции пешком — оборванный, изможденный. Теперь он говорил совсем шопотом, и черную бороду его густо испестрили серебряные нити. Его помыли в бане, дали чистые рубахи. Он сидел в избе смиренный, молчаливый и одинокий.

Приход брата был Алексею выгоден. Теперь он мог посылать обоих сыновей на заработки, свалив все полевые работы на Илью. Сыновья его ходили пилить, нанимались в степные имения возить снопы, копать картошку, они появлялись дома только в большие праздники, весь заработок отдавали отцу, и Алексей все чаще заставлял внучонка снимать с полатей сундучок, в котором у него хранились деньги и деловые бумаги, и подолгу считал кредитки и золотые монеты.

### 3

Через дом от Алексея, рядом с заколоченной избой, жили Трефíловы. Чернобородый и присююкивающий старик Трефилов приходился Алексею двоюродным братом. Они вместе росли и надолго сохранили детскую друг к другу привязанность, звали один другого Петей и Алешей, гостевались в праздники и на семейных свадьбах гуляли, как близкие родственники.

Петя Трефíлов был ленивый и благодушный человек. У него было четверо сыновей. Старший и третий беспрерывно ходили на заработки с продольной пилой, второй сын, Антон, служил в солдатах, а последний, Горка, носатый и злой парень, управлялся по дому. Хозяйство у Пети было плохое, люди перебивались с хлеба на квас и не мечтали ни о чем лучшем. По зиме как-то Антон пришел домой на побывку и удивил село яркостью своего уланского мундира. Высокий и гибкий, он как-то странно переставлял свои длинные ноги, ни с кем не разговаривал а только посмеивался и крутил тараканий ус. После отъезда Антона в семье Трефиловых про-

изошли перемены. Ни с того, ни с сего Петя начал строить вторую избу, купил на троицкой ярмарке в Лебедяни двух пегих лошадей и снял в аренду две десятины мирской земли.

Ключ к разгадке неожиданного богатства Трефиловых дал Илья. Как-то под вечер мужики сидели у дома Алексея и, негодуя на свою бедность, злобно говорили об удаче Трефилова Пети. Илья подсел к мужикам покурить. Жадно затянувшись, Илья заперхал и, превозмогая кашель, прошипел:

— У Трефиловых вся сила в Антошке.

— А он при чем тут, голова? — строго взглянул на брата Алексей.

— Я, Алеша, знаю, при чем. Антошка Пете денег приволок. Помните мое слово. И догадываюсь я о том, где эти денежки добыты.

Мужики воззрились на Илью во все глаза. Он спокойно стряхнул с цыгарки пепел.

— К сыску предался. За это теперь большие деньги получить можно, у кого душа кривая.

— А уж кривее Антохи поискать! — громко сказал кто-то, и сейчас же мужики встали со своих мест и потянулись ко дворам.

По первозимку Антон пришел со службы. Он долго не снимал своего синего, с голубой грудью, мундира и узких, с дутыми голенищами сапог, делавших его еще тоньше и нескладнее. Он не торопился идти с пилой на заработки, спал до обеда и ел из отдельного горшка. Первое время Антон зачастил было ходить по вечерам к Алексею. Тут шили швецы, огонь горел почти всю ночь, и сюда, к свету, стекались соседи-мужики. Потом посещения Антона прекратились, зато Илья почему-то начал захаживать к Трефиловым



и, возвращаясь от них, ни с кем не разговаривал, прямо лез на полати.

— Илюшка, а ужинать? — спрашивал Алексей.

Илья свешивал через брус кудлатую голову и со сдержанным нетерпением отвечал:

— Спасибо. Я поел.

У Алексея темнели глаза. Он коротко взглядывал на Илью.

— Чего наелся?

— Спасибо, говорю, Алеша, спасибо.

— Ну и ладно! — отрубал Алексей и давал знак собирать на стол.

Такие разговоры начали повторяться все чаще. Подозрительный Алексей чуял в поведении блудного брата какой-то подвох, который сулил ему большие неприятности.

Раздумывая над этим, он понимал, что житье Ильи в его доме несладкое. Он целыми днями работал и в поле, и дома, на него покрикивали и племянники, и бабы. Ходил Илья в истлевшей рубахе, и спал он на каких-то клоках, без подушки. Алексей признавался сам себе, что никогда не дал брату копейки на расходы, Илья не имел своего табаку и всегда выпрашивал его у соседей. Даже когда в доме ставили самовар, что являлось большим событием, Илью не сажали за стол, давали ему чашку-другую спитого чаю с кусочком изъеденного прусаками сахару, и он выпивал свой чай где-нибудь в темном уголке. Со слов Аксиньи Алексей знал, что Илья сильно болен — он задыхался по ночам и храпел так, словно ему перерезали горло, — и в нем шевелилась забытая жалость к неудачнику-брату, с которым была связана горькая и

трогательная в воспоминаниях молодость. Бывали минуты, когда Алексей готов был решительно изменить жизнь брата, но почему-то сейчас же вспоминалась Марья и воскресала старая ненависть к Илье.

Все чаще Илья увертывался к Трефиловым и несколько раз возвращался пьяненьким. Выпивши, он смело пререкался с братом, отпугивал от себя баб и, забывая про домашние дела, лез на полати.

Развязка настала скорее, чем ее ждали. В какой-то мартовский праздник Илья пришел от Трефиловых. Он был трезв и необычно степенен. Не раздеваясь, он встал спиной к печному столбу и обратился к брату:

— Я к Трефиловым ухожу, Алеша.

В избе нависла тишина. Алексей, сидевший у стола, взглянул на Илью побелевшими глазами.

— У вас мне, — продолжал хрипеть Илья, — жить стало неважно. Батрака вы себе найдете, а мне покой нужен, — я уж не молоденький.

— Что ж, тебе у нас покоя не было, бесстыдник? — горячо вступилась одна из снох.

Это лишило Илью сдержанности. Он широко раскрыл рот и заорал изо всей силы:

— Спокой? Ты, чорт дохлая, одна меня съела! Все начальники, все командуют, а есть после всех! Рубахи заруднели! Нешто это спокой?

Алексей ударил кулаком по столу. Опять в избе стало тихо.

— Я тебя не держу, — выговорил Алексей перекривившимися губами. — Иди хоть к чорту на рога, только одно помни: ко мне больше не приходи! Понял? На порог не вступай!

— И не приду, — забормотал Илья. — Мне

незачем к тебе приходиться. За свою землю и усадьбу я везде сыт буду.

— За какую усадьбу? — Алексей встал и, пригибаясь, двинулся к Илье. — За какую усадьбу, поганец?

Он схватил Илью за горло и притиснул к печке.

Аксинья вскрикнула, упала перед мужем на колени и повисла на его локте:

— Богом тебя молю, мужик! Не бери греха на душу!

По широкой спине Алексея пробежала волна утихающего гнева. Он бросил Илью на пол и отошел к столу.

— Помни, — сказал он, тяжело переводя дух, — помни: усадьбу я у тебя купил. Антошке Трефилову на моем родовом корню не жить!

В тот же вечер Илья переселился к Трефиловым.

В скором времени он совершенно преобразился. Ему купили новые сапоги, суконный картуз и сшили красную сатиновую рубашку. Спал Илья в амбаре, что стоял на улице, перед избой, и трефиловские бабы часто перетряхивали пегую полость и красную попонку, словно хотели показать — какая чистая постель у их нового жильца.

Перед севом Алексей вырезал Трефиловым душевую землю брата, но усадьбу запахал сам.

Когда он занес в борозду соху, к плетню подошли сыновья Пети. Они вытолкнули вперед Илью, державшего в руке длинный осиновый кол, и подбадривали его, подбивали начать скандал. Однако у Ильи нехватало смелости выступить

против брата, он издали размахивал колом и кричал:

— Добром уходи, Алеха! Уходи!

Алексей продолжал итти бороздой, не обращая внимания на крики. Тогда Илья исчез и через некоторое время выехал на усадьбу с сохой и повел кривую борозду с другой стороны.

Не размыкая губ, Алексей приблизился к Илье и вытряхнул его соху из борозды.

Тогда за плетень вышел сам Петя и запальчиво крикнул:

— Ты мою лошадь не дергай! Не рви! Грех будет!

Алексей продолжал пахать. Петя кричал ему вслед:

— Обобрал брата, злодей, не постыдился? Но по-твоему все равно не будет! На таких, как ты, суд найдется!

Через месяц пришли повестки на суд. Алексей вернулся с суда мрачный и тотчас же послал за законником-зятем.

У Трефиловых же шло ликование, Илью поили водкой, и до поздней ночи около крыльца рычала гармоника. А наутро Петя подвез к заколоченной избе три воза кирпичей: Трефиловы готовились заложить третью избу.

Суд затянулся. Успех был переменный, и это отражалось на Илье. Он ходил теперь в старой шубенке, и никто не обращал на него внимания. Чужой угол начал подавлять его, и раздутая Трефиловыми вражда к брату давно прошла. Илья уже перестал ругаться при встречах с племянниками, неизменно снимал шапку перед Аксиньей, но попадать на глаза брату еще не решался.

Весной суд закончился. Запродажная запись на усадьбу была признана законной.

Никому не сказал Алексей о своем разговоре с законником-зятем перед последним решением суда. При воспоминании об этом разговоре он встряхивал головой и шептал, стискивая зубы:

— Продажная твоя душа, сукин ты сын!

А было так:

Когда Алексей показал зятю повестку о вызове в суд, тот оскалил желтые зубы и ничего не сказал.

— Так как же? — настороженно взглянул на него Алексей. — Научай!

Писарь долго смотрел ему в лицо.

— Научать?

— Ну, а как же?

— Тогда будем говорить по душам. Хочешь, чтобы вышло по-твоему?

— Кто ж того не хочет! — нерешительно сказал Алексей.

— И будет по-твоему. Только... — Писарь положил на стол белые нерабочие руки и быстро зашевелил хитрыми пальцами. — Только уговор: половину усадьбы за хлопоты мне.

Алексей прошел в дальний угол избы и, не обертываясь, глухо спросил:

— Есть ли в тебе совесть?

— Обязательно! — захохотал писарь.

Тогда Алексей медленно подошел к столу:

— Если ты с родными так обходишься, то как же ты чужих обдираешь, юда?

Писарь посмотрел ему в лицо потемневшими глазами.

— Илья Макарович тебе тоже не чужой, а карманы-то у вас разные?

Алексей зашатался, словно его ударили по лбу. В первую минуту он готов был выкинуть наглого родственника за дверь и навсегда прикончить суд с братом. Но мысль о торжествующем Антошке, о насмешках соседей изменила его намерения. Не глядя на писаря, он невыразительно сказал:

— Пускай будет по-твоему. Лучше потеряю половину усадьбы, но верх над ними должен быть мой.

4

От Трефиловых Илья ушел на троицын день. Он до вечера сидел в пустой избе, которую строил для него брат. За порогом избы росла могучая крапива; под стропилами и в углах золотились зыбкие сита паутины; из-под изъеденных камней фундамента выползали жирные зеленоглазые жабы.

Илья слышал, как на крыльцо выходили Трефиловы ребята и переговаривались пьяными голосами. За весь день никто из Трефиловых не произнес его имени, словно он никогда не занимал места в их семье.

Несколько раз Илья засыпал. Солнце накаляло ему голову, и, просыпаясь, он долго протирал глаза, в которых все окружающее — небо, красные стены, густая зелень бурьяна — струилось, текло и играло желтыми пятнами.

Когда на улице затихли голоса, Илья выбрался из пустой избы и огородами, перелезая через плетни, прошел на усадьбу брата.

Алексея он увидел у риги. Слегка распухший после дневного отдыха, злой и медлительный, тот подбирал со следа натерянное сено и на кого-то

шопотом ругался. Илья постоял за теплой крышей риги и решительно пошел в сторону, на еле видный шпиль колокольни.

Праздные люди видели его в дверях кабака, записные пьяницы пытались склонить его на смётчину, но Илья уклонился от компании, выпил один и скоро ушел домой.

Семья Алексея сидела на крыльце за ранним ужином. Аксинья первая заметила подходившего Илью и бросила тревожный взгляд на Алексея. Ее тревога передалась остальным, все положили ложки и смотрели на нежданого гостя. Один Алексей, сидевший спиной к дороге, ел, не обращая ни на кого внимания.

Подойдя к крыльцу, Илья снял картуз и еле слышно просипел:

— Хлеб-соль!

Алексей метнул на него взглядом и спокойно ответил:

— Просим милости.

Но сейчас же, обежав глазами лица домашних, он распрямился:

— Чего поджались? Ешьте!

Илья взялся за крылечный столбик. Мятый рукав его захватанной рубахи спустился к локтю, обнажив темную и сухую руку. Илья оглядел сидящих за столом, покушаясь изобразить на лице улыбку.

— Кушайте на доброе здоровье,— ответил он брату.— Спасибо. Я сыт, говорю. Мне вашего не надо...

— А не надо, так убирайся к чортовой матери! — вдруг рывкнул Алексей и встал на ноги. Со стола упала горбушка пирога и откатилась

к ногам Ильи. Тот неверными пальцами поймал горбушку и протянул Аксинье.

В бешенстве Алексей толкнул ногой стол. Бабы и ребятишки, выскочившие из-за стола, сбились около сенной двери. Вставшая на дыбы скамейка отрезала всем путь к бегству.

На крик Алексея появились любопытные. Вдоль изб забежали, мелькая цветными платками, девки, а за погребцами кто-то, захлебываясь от нетерпения, кричал: «У Алехи драка! Гунявого Илюху колотят!»

Этот злорадный крик хлестнул Алексея по лицу. Он вдруг опустил кулаки и подался назад.

— Зачем ты тут? Уходи сейчас же! — сдержанно прохрипел он.

Илья впервые за всю жизнь смело выдержал взгляд брата.

— Мне некуда больше итти, Алеша, — сказал он.

— Иди туда, откуда принесло тебя!

— У Пети мне тоже не родной дом.

— А тут у тебя какой дом?

— Где моя усадьба, тут и мой дом.

Напоминание об усадьбе перекривило лицо Алексея. Позабыв про соседей, подступивших к самому крыльцу, он бросился к Илье и толкнул его в грудь. Илья оторвался от крылечного столбика, вскинул вверх руки и, пробежав шага четыре задом, шлепнулся на землю.

Вечерняя уборка развела людей по домам. Над долиной нависли зеленые сумерки. Звезды вспыхнули над прудом. На противоположной стороне оврага широко и певуче вздохнула гармоника. По-ночному, чуть-чуть заспанно, проскрипели двери сеней и хаток.



А Илья все сидел перед крыльцом, на том месте, куда его толкнула рука брата. Он давно рассказал всем о своей жизни у Трефиловых, о ведьме-старухе, жене простоватого хитреца Пети, и о коварном Антошке. Аксинья вынесла ему большой кусок пирога, холодное мясо и потную крынку молока.

Когда Илья насытился и сидевшие на крыльце, сонно позевывая, потянулись спать, на крыльцо вышел Алексей. Зажав в руке кисет с табаком, он встал на порожке крыльца. Запутавшаяся в облачных космах луна осветила его с ног до головы. Босой, в распущенной, без пояса, рубахе, он встал перед поверженным Ильей.

— Чего же ты высиживаешь?

— Куда ты меня гонишь? — тихо спросил Илья.

— Тебя не гнать, а собаками притравить, негодника!

— Я сейчас и так хуже собаки.

— Сама себя раба бьет, что не чисто жнет. К Пете захотел? Вином да хорошей одеждой соблазнился?

Илья вдруг ткнулся головой в землю и визгливо, по-бабьи, запричитал:

— Зачем ты меня маленького выходил, зачем на руках носил? Блаже бы ты меня убил тогда, малого несмыслёнка, я бы горя не видал...

— Перестань! — крикнул Алексей и обернулся к домашним: — Спать! Запирайте двери!

Его тяжелая квадратная спина вычертилась на лунном свете и канула в потемки, под крылечный козырек.

Илья вскочил на ноги, одернул рубаху и шагнул к крыльцу.

— Так и уходишь?

— Нет, всю ночь калганить с тобой буду.

— Совсем меня гонишь?

— Живи, вон, под крыльцом, вместе с Белкой.

Илья обеими руками потряс крылечный столб.

— Так будь ты проклят отныне до века! Ни дна бы тебе, ни покрывки! До трех колен чтобы тебя ломало за меня и за Марью!

Он кричал долго, надрывая свой голос.

Давно опустело крыльцо. С равнодушным скрипом захлопнулась дверь.

В ту же ночь Илья исчез из села.

Окончание тяжбы не вернуло семьям Алексея и Трефиловых прежнего мира. Открытая злоба ушла вглубь. Одно сознание, что соседи могли счесть ту или другую сторону побежденной, делало стену, разделяющую два родственных дома, еще выше и непроницаемее.

Отделав вторую избу — с высоким крыльцом, с оконными пилястрами из белого тесаного камня — Трефиловы начали строить под горой каменные — маслобойку и крупорушку. Как бы в ответ на это, Алексей купил в рассрочку конную молотилку. В тот год сыновья его хорошо заработали на подвозке к винному заводу картофеля, в сундучке у Алексея завелись деньги, и он, глядя на стройку Трефиловых, ядовито посмеивался:

— Построить — не диковина. Вот как бы денег не пришли просить. Придется мне за них масло копить да есть гречишные блины.

По весне ему посчастливилось дешево снять два душевых надела земли да исполу взять у одной вдовы полторы души. Хлеб в тот год уродился хорошо, расходы на аренду окупилась с лихвой, и, когда сыновья тронулись по селу с молотилкой, Алексей начал открыто насмехаться над Петей.

Однако Трефиловы не сдавались. Пустив крупорушку и маслобойку, Антон открыл в переднем амбаре лавочку. Он оделял своих покупателей подсолнухами, баб и девок баловал даже медовыми стручьями и жамками, кое-кому открыл кредит. Народ потянулся к нему вереницей, все лицемерно хвалили нового торговца за ухватку, одобрительно отзывались о новой избе, в окнах которой белели занавески. Антон беззвучно скалил зубы и с ловкостью городского продавца ставил гири на медные тарелки весов.

Через несколько дней после открытия лавочки на молотилке случилось несчастье: в ржаной сноп кто-то всунул шкворень. Михаил, пускавший в барабан, не заметил этого; раздался треск; два барабанных зуба вылетели пулями и только случайно не задели женщин, отгребавших колос. Сброшенным со шкива ремнем ударило подавальщика.

Михаила увезли в больницу. А наутро двух лошадей Алексея нашли в риге хозяина, у кого работала молотилка,дохлыми: кто-то подпустил их к вороху, и они объелись.

Осенью у Трефиловых пропали с зеленой две лошади и сосун. Ребятишки, жегшие на валах костер, говорили, что несколько лошадей пропали в тумане к лесу, но чьи это были лошади и сколько их — никто не сказал.

Сыновья Пети разошлись на поиски. К полночи вернулись домой два старших брата и, злые от неудачи, голодные, здорово поругались с отцом, потакавшим младшему сыну, которому был поручен караул лошадей.

Горка не вернулся домой и к утру. Братья снова надели на себя непросохшие армяки и шапки и пошли на поиски.

Вернулись они к ночи, но без лошадей. Они привели с собой Горку. Синий, с ввалившимися глазами, он еле передвигал ноги, и нижняя челюсть его — тяжелая и словно распухшая за ночь — отвисала, как у старой лошади.

Парень слег. Его долго возили по колдунам и бабкам, парили в бане. К весне Горка встал на ноги, но его скрюченные пальцы были неподвижны и синие ладони были холодны, как рыбы плавники. Пришлось объявить родным невесты, сосватанной за Горку, что свадьба не состоится.

Потрясенный беседой со строптивыми сватами, Петя еле дошел до дома. Не ответив на вопросы старухи, он разулся и полез на печь.

Болеет Петя недолго. Он ни на что не жаловался, то и дело засыпал и во сне плакал.

Перед смертью он увидел распад недолговременного благополучия своего дома. Однажды ночью в новой избе раздался истошный крик, загремела посуда и дзынькнули стекла окон. Сквозь голоса, непрерывный стук дверей и причитанья старухи Петя уловил: сын его Антон, принесший в дом столько надежд, планов, гордости и огорчений, сошел с ума.

Утром Петя начал томиться и попросил привести попа.

На исповеди Петя попросил священника по-

мирить его с Алексеем. Беззащитно глянув по-  
пу в глаза, он прошептал:

— Мы с ним в чижики игравали... с Але-  
шей-то...

Последних слов Пети Алексею не передали. Да  
он все равно не придал бы им цены: слишком  
глубоко вошла в него неприязнь ко всему трефи-  
ловскому дому, а тут еще и свои заботы отяго-  
щали его старую голову. С того дня, как случи-  
лось несчастье на молотилке, хозяйство быстро  
покатилось под гору. Зимой пришлось продать  
молотилку на уплату подушных податей. Еще  
раньше того произведены были большие траты  
на проводы младшего сына в солдаты.

После несчастья на молотилке Михаил, лени-  
вый, склонный к выпивке мужик, совсем откач-  
нулся от работы; ссылаясь на боль в боку, он  
часто ходил в больницу, возвращался оттуда  
пьяным и все смелее начал огрызаться на отца.  
К весне он окончательно поссорился с отцом,  
ушел из дома и поступил сторожем на винный  
завод.

Постаревший и зануждавшийся в ореховом  
подожке, Алексей в это лето часто завертывал  
на старую усадьбу. Здесь густо разрастался ди-  
кий вишенник, он занимал теперь добрую треть  
усадьбы и заглушал посеvy. Пустая изба давно  
была сломана и на ее месте виднелись горы му-  
сора.

Алексей долго сидел на поваленной липе около  
плетня. О чем он думал, что плелось в его се-  
дой, с отросшими по плечи волосами, голове,—  
никто не знал.

На обратном пути он обходил стороной за-  
глохшую маслобойку и поднимался к покривив-

шемуся амбару-лавке. Его провожал острый взгляд Горки, а в мутном стекле новой избы проступал волосатый лик помешанного Антона. Сумасшедший показывал свои длинные лошадиные зубы и грозил Алексею кулаком.

Однажды, в конце горячего августовского дня, полевым переулком в село въехала подвода. Неизвестный мужик остановил лошадь и, закинув вожжи на оглоблю, подошел к ближайшему крыльцу. Из домов выглянули бабы, и мужик скучающим голосом сказал:

— Вашего человека я привез. Помирает, понимаете... Поглядите, пожалуйста, в самом ли деле ваш, не ошибся ли я с ним?

Бабы осторожно подошли к телеге. Под брезентом, запрокинув седую редкую бороду, лежал Илья. Лицо его было водянисто-желто, огромный живот равномерно приподнимал брезент.

— Вот видите, какая красота, — говорил мужик, вынимая затасканный кисет. — Еду полем, понимаете, а он храпит, как домовый под печкой. Сколько я с ним страху напринимался, — не выговоришь, не чаял, как до села добраться. Ну, как же, ваш, что ли?

Сокрушенно поджав к щекам руки, бабы ответили:

— Наш, Илюшенька. И родные есть, небось, не откажутся.

Скоро около телеги собралась толпа. Мужик постучался в окно к Алексею. В избе оказалась одна Аксинья, не поднимавшаяся с постели много недель. При известии об Илье она тихо заплакала, но внести больного в избу разрешения не дала:

— Без старика не могу я, девушки. Подождите самого...

Перед вечером на западе замолодели тучи. Сумерки спускались на избы густые и теплые. Телега стояла поперек дороги. Мужик сидел на колесе и одиноко курил.

Принять брата Алексей отказался. Дергая за вожжи, мужик поехал селом дальше. Брезент сползал с телеги и из-под него виднелись толстые, как бревна, ноги.

Наконец мужик отыскал старосту и сложил свою кладь в сборной избе. Илья был уже мертв.

1935—1938

---

## Дом на горе

1

Многие работники области и центра при посещении района неизменно заезжали в Сторожево. Во-первых, потому что здесь был расположен крупный садоводческий совхоз с десятками старых помещичьих садов, около которых раскинулись новые, насаженные за последние восемь — десять лет; во-вторых, всем любопытно было посмотреть, как живет лучший ударник района конюх-бригадир колхоза «Большевик» Иван Гуреич Мишин.

Иван Гуреич был широко известен. Он не раз бывал на областных слетах колхозников и в числе лучших ударников посетил товарища Сталина.

Невысокий, широкоплечий, густо заросший светлой, с желтыми концами, бородой, Иван Гуреич легко свыкся со своей известностью, нимало не изменив своего облика и отношения к людям. Знавшие его прежде говорили, что изменился только его говор: он стал основательно произносить каждое слово, взвешивая его и примеряя, как опытный каменщик прикидывает к ряду выбранный кирпич. Во всем же прочем



остался тем же — веселым, склонным к шутке, готовым услужить всякому, у кого была в том нужда.

Жил Иван Гуреич на самом высоком месте наддонской горы, отдельно от сельских изб, в добротном кирпичном доме с каменным двором, амбаром и подвалом. На усадьбе весело зеленел молодой садик с тройкой ульев между огородных гряд. На высокой груше и на березках висели голубая и две розовых скворешни — изделия самого Ивана Гуреича, большого любителя этой хозяйственной и не особенно беспокойной птицы.

Когда-то большая семья Ивана Гуреича сильно убыла: два сына учились в Воронеже, старшая дочь работала учительницей недалеко от Мичуринска — через нее Иван Гуреич держал связь с великим мудрецом-садоводом, а три младших наезжали домой только в каникулы. Дома жили последыши — Маринка да двухлеток Стенька, любимец отца.

Домом Ивана Гуреича премировал колхоз за посевную тридцатого года, когда исключительно благодаря его вниманию лошади выдержали всю пахоту. Гуреичу тогда завидовали, многие не советовали въезжать в дом, пугали тем, что в этом осином гнезде никому не будет добра.

Дом в самом деле пользовался дурной славой. Все помнили, сколько греха, мошенничества и обмана связано с его постройкой, и дом этот, не один год стоявший заколоченным, казалось, олицетворял собой всю запутанность прошлой жизни.

Историю эту рассказывали так.

В начале девятисотых годов разделились два брата Прониных — Павел и Максим. Раздел произошел вскоре после женитьбы Максима, бывшего лет на восемь моложе брата. С дележкой у них получилась какая-то канитель. Павел опутал простоватого Максима, уговорил его уступить ему отцовскую стройку и пообещал выплатить Максиму часть деньгами. Максим согласился, но догадки на то, чтобы взять с брата форменную расписку, у него нехватило. Когда Максим собрался строиться и пришел к брату за обещанной подмогой, Павел расправил бороду на две стороны, взглянул на божницу и отрекся от своего слова. Максим поглядел в лицо брата, крикнул и неожиданно для Павла гаркнул во всю глотку:

— Хамлётина!

Кулаки его вскинулись вровень с головой, и у рукавов рубахи сразу отлетели ластовицы.

Оба брата были широки в кости и рослы. Драка могла кончиться убийством. Жена Павла, взглянув на деверя, подхватила на руки двух ребят-погодков и заголосила, как по покойнику. В самую последнюю минуту, когда Максим готов был ринуться на брата, в избу вошла жена Максима, Саша. Почувяв ее, Максим сделал шаг назад. Саша взяла Максима за руку и потянула к порогу. И когда тот был уже за дверь, она в пояс поклонилась Павлу.

— Спасибо тебе, Павел Афанасьевич, за доброту. Может, тебя, проклятого, за нашу долю разорвет на двенадцать частей.

Дверь за Сашей захлопнулась так, словно в сенях выстрелили из дробового ружья.

На селе было известно, что распря у братьев произошла из-за Максимовой молодухи. Саша разъяснила мужу, что он работает на брата и его детей и что завистливая сноха весь домашний прибыток прячет по своим бездонным сундукам. Настроенный ею, Максим встал на дыбы, начал перечить брату, и раздела нельзя было миновать.

Плутовство Павла сломало все планы Саши. Половинной доли пронинского дома далеко не хватало для устройства своего гнезда. Строить же сиротскую избенку с плетневым двориком было зазорно от людей и от деверя. Выходило так, что нужно подаваться на сторону и сколачивать капитал. Саша уговорила Максима, насулила ему золотые горы, тот сдался и после рабочей поры выправил в волости паспорта. Перед тем, как тронуться вдаль, Максим дня два пил, поил жену, заставлял ее петь песни, а сам, крутя головой, плакал и жаловался на брата:

— Бог с ним! Ах, братка, братка! Но я не повинюсь, кланяться ему не стану. Он узнает, какой-такой его брат Максим. Я такую стройку отчубучу, что у него в носу будет жарко.

На станцию они шли пешком, кряхтя под тяжестью сумок и сожалея о пропитых деньгах.

### 3

Саша стала женой Максима по расчету.

Павел смекнул, что из обстоятельного дома сноху брать не резон: крепкодомая родня, чего

доброе, научит Максима считать на пальцах. Решено было найти ему бабу победнее да поухватистее.

И Саша оказалась самой подходящей. Она выросла сиротой в сутолочной семье многодетных братьев. Оглушенная окриками горластых снох, Саша не льнула к подругам и не любила девичьих игр. Но заневестилась Саша скоро. Ей было шестнадцать лет когда ее платок нашли бабы в палисаднике, под окнами барской конторы.

Никто не знал, почему Саша охотно пошла за Максима. Ничего завидного не было в этом большом и нескладном парне. На широких, побабьи круглых плечах Максима сидела совсем маленькая голова, в темных глазах его всегда стоял сон; уши у него не прилегали к голове, тарацились в стороны, как лопухи. Правда, мужая, Максим оброс черной аккуратной бородкой, но был так же нескладен и не скор на слово.

Нельзя сказать, чтобы и Саша слыла красавицей. Она была высока, тонконога, верхняя губа у нее двоилась,—но, если она не брала красотой, то привлекала всех ухваткой. Парни к ней льнули, находились хорошие женихи, но она остановилась на Максиме. Злые бабы языки утверждали, что сделала она это неспроста: неумный муж очень удобен для девки, за которой водились грешки.

И никто не догадывался, что худую славу принимала Саша за одно только озорство. Озоровать она начала после того, как вернувшийся из солдат Василий Сорвихин под пьяную руку оскорбил ее при народе.

Саша вздумала считать его своим женихом, хотя он был лет на десять старше ее. Она всюду ловила Василия, подарила ему кисет с вышитой надписью: «Кого люблю, того дарю». Дом Сорвихина считался богатым. Отец ему сватал девку в соседней деревне, выговаривая большое приданое. И вот однажды после заоя Василия, когда ему подвернулась Саша, матерно и зло обругал ее на людях.

С этого дня Саша начала заигрывать с ребятами, повадилась ходить ночью в имение, плясать под балалайку мордастых конторщиков. Делала она это Василию назло, надеясь вызвать в нем ревность. Но это не удалось ей: на ильин день Василий сыграл свадьбу.

И, выходя по осени в богатый пронинский дом, Саша думала больше о Василии, чем о Максиме. Ей хотелось похвалиться перед Василием богатством и отплатить ему за обиду.

#### 4

Первое время были слухи, что Максиму удалось пристроиться в каком-то подмосковном имении кучером, а Саша приладилась к барской кухне. Говорили, что место им попало денежное, и Саша хвалилась, что скоро они приедут строиться.

Слухи эти вызывали разноречивые толки. Жадные и завистливые люди поносили Сашу за самохвальные речи, но большинство верило в «чужую сторону» и в возможность наживы.

Саша приехала в село под осень девятьсот пятого года. Она сняла для себя заколоченную

избу, привела ее в порядок и начала приторговывать винишком.

По селам шли слухи о забастовках, в барских лесах начались порубки, кое-где жгли и растаскивали скирды. Мужики потеряли покой, им не сиделось дома, и они все чаще завертывали к Саше «на огонек», оставляя у нее береженные медяки. Саша открыла мужикам широкий кредит, брала под залог различные вещи. Гулянки у нее шли всю зиму. Не один раз ее срамили жены пропившихся мужиков, кое-кто поговаривал даже о том, чтоб поджечь ее. Но до этого дело не дошло.

Весной из Манчжурии стали приезжать солдаты. В имение поставили сотню донских казаков. Чубатые, насквозь пропитанные табаком, казаки ходили по селу, ругаясь на чем свет стоит. Они злобно рубили шашками посадки, стреляли в собак и грозили мужикам куцыми плетками.

Скоро с барского двора поплыло зерно, сбруя, инвентарь. Все это застревало на селе в обмен на водку, сало и бабью любовь.

К Сашиной избе казаки проложили торную тропу. Они не скупались на деньги, и Саша, чуя поживу, вертелась около них вьюном, созывала к себе баб, засиделых девок, и гульбища шли круглые сутки. Напиваясь, казаки не оставляли в покое и хозяйку.

Первое время Саша всячески ухитрялась хранить свою верность Максиму, но скоро связалась с рыжим урядником. Урядник был огромен и зол. Казаки слушались его с одного слова. И Саша знала, что, нагруби она ему, тогда на-

ступит, пожалуй, конец богатой поживе. Урядник тащил ей с барского двора все. Ее кладовая стала ломиться от мешков с хлебом и пшеном. Несколько раз за лето она отправлялась с большими возами в торговое, на Скопинском тракте, село Чернаву. Из-за недорода хлеб стоял в цене, от покупателей не было отбоя, и назад Саша возвращалась в пустой телеге, но с полным кошельком.

От тех лет осталось за Сашей прозвище «Казачка».

Весной девятьсот седьмого года она приступила к стройке дома. По отдельному договору к Максиму отходила половина прониной усадьбы. Но Казачка не захотела строиться на старом месте. Не посоветовавшись с Максимом, она продала свое поместье Павлу, а себе купила заброшенную усадьбишку на высоком юру наддонской горы. Осенние и зимние месяцы ушли на заготовку кирпича, камня и леса. А ранней весной, только-только успели провянуть пригорки, на юр пришла артель каменщиков.

Чужая работа всегда спора. Всем казалось, что каменщики вовсе не работали, а только играли на гармонике да соблазняли девок озорной пляской. И неизвестно было, когда они успели сложить пятнадцатидесятиаршинную связь, двор и узорчатый от перемычек из белого камня амбар.

Не одному хозяину эта стройка перетянула горло завистью. Основательность стройки вызвала уважение к хозяевам. Даже распутные «приработки» не ставились Казачке в вину: ради такого дома не грех и поблудить.

За лето Казачка еще пуще высохла. Она вместе с мужиками возила кирпичи, ворочала

камни, подносила по гибким лесам известку, успевая торговаться с подрядчиками и готовить рабочим еду. Никому не призналась Казачка, что на окончание постройки вместе с припасенными деньгами давно утекли из ее сундуков холстишки и девичьи наряды.

Начиная стройку, она думала, что стоит возвести стены, и сейчас же дом станет полным, как у богача Аксена Мячина, у нее также появятся одоньи хлеба, лошади, коровы, овцы, и люди будут на нее работать.

Старик Мячин много лет страдал животом. Он был зловеще худ, кожа на его лице отливала зеленью, и рыжая редкая борода казалась приклеенной. Мрачно сверкая глазами, он не раз говорил Казачке глухо и грозно:

— Зря тужишься, Шашка, кишка лопнет. Ума в вас настоящего нету. Придется мне эту стройку у тебя за дешевую цену купить.

От этих слов у Казачки начинали дрожать коленки. Она через силу усмехалась и, боясь выдать свое волнение, отвечала:

— Не все сразу, дядя Аксен. Ты ведь тоже начинал с небольшого.

В последний раз Аксен приплелся к ней в тот самый день, когда кровельщики приколачивали к трубе узорчатый карниз. Стуча о камни клюшкой, он обошел двор, потом присел на порожке крыльца и задышал трудно, по-рыбьи, открытым ртом. Казачка не хотела его видеть, но он сам позвал ее:

— Слух есть, ты у свечного старосты денег просила. Уж растряслась? У меня бы взяла. Я тебе вроде задаточка подо все это сооружение дал бы пятишницы три...



И гулко закашлял — засмеялся. На зеленом лице его выступил пот. Казачка еле сдержалась от резких слов, хлопнула дверью и в горнице, повалившись на сложенную постель, заплакала злыми слезами.

Аксен сидел долго, говорил с кровельщиками: — Барыня, кривой колпак! Лезут в волки, а хвост собачий.

Когда он ушел, Казачка спокойно призналась себе, что на этот раз ее планы не осуществятся, надо сделать передышку.

Расквитавшись с долгами, перед Покровом она опять уехала к Максиму.

Снова в свои места Казачка попала уже в германскую войну. Шел год пятнадцатый. Постаревшая, в светлом, туго повязанном платке, Казачка похожа была на примирившуюся с судьбой вдову. Она отбила от окон почерневшие доски, вымыла полы и прочистила витую, к Дону, дорожку. Ею интересовались мало. И уже после, когда к ней зачастил Сорвихин, все вспомнили ее веселый нрав и поняли, что мужик этот появился у Казачки неспроста.

## 5

Василий Сорвихин, давно отделившись от братьев, жил в кизяковой избе с каменной пристройкой, а на месте двора торчал глинобитный хлев для коровы да плетневый половень под навоз и дровишки.

Вечный безлошадник, Василий веснами дневал и ночевал на речке, возился с сетями, вершами, а в зимы плел лапти и этим промыслом покрывал расход на обработку земли.

Богатую и жадную к деньгам родню раздражала легкая жизнь Василия.

— Не миновать тебе сумки со своим оборотом! — говорили мужики Афанасьевне — жене Василия. — Ишь, дьявол, слоняется без толку!

Афанасьевна не вступала в споры. Скупая на слово, не завистливая, она не водилась с соседками, целыми днями топталась по земляному полу избы. В избе у нее всегда пахло свежими березовыми вениками. Управившись по немудрому хозяйству, Афанасьевна пряла, ткала, вязала. Ее изделия заполняли липовые коробьи, украшенные базарными петухами укладки. Там, скрытые от света, желтели скатерти, ширинки, цветастые, как воспоминание о молодости, попонки. Копила все это Афанасьевна в надежде на «благословение божье». До пятидесяти лет ждала приплода, а когда надломился ее бабий век, начала копить про черный день, «на Васильеву немочь»: раза по два в год Сорвихин буйно загуливал.

Это не тревожило Афанасьевну. Раньше она прощала мужу гульбу по бабьей любви, а теперь снисходила по старческой жалости: поредешую скобу кудрей Сорвихина тронуло изморозью, плечи обвисли и упрямую шею пыльной сеткой расписали частые морщины.

Предчувствуя одинокую старость, Афанасьевна обдумывала тайный план привести в дом племянника Ваню. Ваня-Душа, как его звали, был сыном ее рано умершей сестры. Спившийся после смерти жены, отец его, Гурей, ушел в Ростов и там канул. Первое время Ваня перебивался у дядьев, но чужой угол оказался неприветлив. Дядья и тетки обобрали его, размы-

тарили кое-какое добришко, и пришлось Ване итти в пастухи.

Афанасьевна видела, как трудно жилось племяннику, но помочь ему большого желанья не выражала. «На чужой каравай рот не разевай, работай и свой приобретай»,— говаривала она Ване, когда тот иногда завертывал к тетке. Она давала ему старые Васильевы рубашки, лапти, совала в руки кусок пирога. И только когда Ваня-Душа неожиданно для всех женился, Афанасьевна, гуляя на его свадьбе, сказала под хмельком тайно от Василия:

— Потерпи, Ванятка. Вот мы со стариком оплошаем и возьмем тебя с молодой женой к себе в дом. Докормите нас, и весь наш прибыток вам останется. А пока бейтесь, бейтесь сами. Нужда и гнет, и уму-разуму научает. Свое приобретешь — чужое крепче беречь станешь.

Разговор этот больше не повторялся, но Афанасьевна видела, что Ваня крепко запомнил ее слова. Жизнь его не баловала. Он был пастухом, долго батрачил у попа, ломал горб в имении. Рождались ежегодки — дети, и к войне их было уже пять человек.

Варька, жена Вани, когда-то разбитная девка, давно помутнела, ее широкое, веснучатое лицо покрылось морщинами; чужие углы — они жили по квартирам — согнули ее упрямые плечи, она все чаще бранилась с Ваней, попрекая его нищетой.

Весенние удовольствия Сорвихина обрывала страдная пора. Приходилось отбивать косу и налаживать крюк. Когда перепадали грузные хлеба и барские работники не управлялись с уборкой, Сорвихин раскачивался на десятину-другую, уби-

рал вдвоем со старухой, и труд возвращался в дом мешками огурцов, золотистой антоновкой, от которой до самых морозов держался в горнице крепкий аромат степных садов.

А там подходило время «паровой». Барские хлеба молотились в один прием, паровая молотилка перевозилась с хутора на хутор, вплоть до Хованщины и Куликова Поля, вместе с артелью обмолотчиков. Артели составляли подрядчики, каждый год в них попадали разные люди, но место кашевара неизменно оставалось за Сорвихиным.

Среди жуликоватых подрядчиков бытовала примета: кашевар на месте — быть артели в прибытке.

Артель ходила до середины сентября.

Потом незаметно подкрадывался октябрь, он волочил по мокрому жнивью спутанные космы седых туманов, забавлялся по ночам холодной игрой звезд, напоминал о худобе стен. Сорвихин убирал на чердак удочки и шел со старухой в лес сгребать сухой лист, затесывать для завальни осиновые колья.

## 6

Первая встреча Казачки с Василием произошла на «паровой».

С утра Казачка понесла в Полибино к чинильщику прялку. На обратном пути она зашла в орешник и уж под вечер, с полным подолом орехов, столкнулась с Сорвихиным на опушке рощи, где тот варил артели ужин.

На гумне стояли высокие скирды. Между скирдами фукал паровик, оттуда ветер нес сте-

клярусный хвост половы. Василий стоял около костра, в тени разомлевших лип. Опухший от послеобеденного сна и злой, он точил о розовый голыш ножик.

Казачка перешагнула канаву и села на дерновый боровок.

— Здравствуешь, Василь Федотыч! Я тебе не помешаю?

Сорвихин сильнее заскреб ножом о голыш.

— Сиди хоть год.

Сзади него пылало жерло печи; в котле булькал густой пшенный кулеш.

Казачка распустила углы фартука и принялась ворошить в подоле орехи.

Известно, человек не замечает своей старости. Казачка ожидала встретить Василия прежним— кудрявым, складным и чернобородым. А сейчас перед ней на кривых, изломанных ногах стоял серый, сторбившийся человек. Она покачала головой, а Василий, встретив ее взгляд, разогнулся и расправил усы.

— Ну, что ж, так и будешь сидеть?

— Иль уж надоела?

— Дюже мне нужно!

Он сделал полуоборот, чтобы отойти к котлам. Казачка засмеялась.

— Какой ты был кбваль, где ж это все девалось?

Василий повел плечами, будто его ударили промеж лопаток:

— Авось, и сама не вчерашняя девка.

Смех в глазах Казачки потух. Из фартука один по одному побежали скользкие орехи.

— В гости зашел бы как-нибудь. Одна я. Старину бы вспомнили.

Сорвихин со всего маху ткнул ножом в камень. Лезвие разломилось пополам. В эту минуту стена черемушника на опушке расступилась, и на канаву выскочил Ваня-Душа. В белесых глазах Души стоял испуг.

— Дядюшка Василий! Тетка Марья-то того... померла!

Казачка подобрала с земли орехи и отошла к сторонке. Не замечая ее, Ваня наступал на Сорвихина, захлебываясь и глотая концы слов:

— Говорю я поутру бабе: «Сходи, мол, к тетке. Дядюшка, мол, на паровой, водицы и то больной подать некому». Пошла она. Я ждать-пождать — нету. Обеду время — нету. Рожь на точишке расставил, время уходит, а она все не идет. Дай, мол, сам схожу. Прибегаю, а там уж свечка горит, и баба моя в голос плачет. Иди, а то мало ли что...

Когда Душа скрылся, Казачка прошла мимо Василия на дорожку и, путая сочувствие с усмешкой, сказала:

— Вот и опять женихом стал.

Василий проводил ее глазами, потом поднял обломок ножа и с силой бросил его в кусты.

## 7

Бабе лето выпало в тот год дождливое. Артель обмолотчиков целыми днями отсиживалась в шалашах, и однажды, первый раз в жизни, Сорвихин бросил артель и ушел домой.

Казачка увидела его издали. Она повертелась перед зеркалом и выбежала за двор. Схватив беззубые граблишки, она принялась для вида во-

рошить сырой и вовсе ненужный навоз. Василий приблизился к углу ее двора и остановился. Казачка обернулась:

— Ой, как напугал ты меня!

Сорвихин дотронулся пальцем до картуза и хрипло выговорил:

— Мне бы водицы...

— Что это ты угорел? Будто не жарко.

Сорвихин покрутил головой, словно за воротник ему набилась ржаная осоть.

Казачка отряхнула фартук и прошла мимо Василия.

— Что ж на дороге пить? Просим милости в избу!

Усадив Василия на лавку, она сбегала в погреб и принесла потный кувшин молодого квасу. Василий выпил кружку, не отрываясь, и пена мыльным кружевом повисла на его усах. Поджав кулаки к щекам, Казачка смотрела на него, плохо скрывая свою радость.

В мышинных глазках Сорвихина сверкнула усмешка:

— Вот и зашел тебя проведать. Просторно живешь ты. Одной-то не боязно?

— Что ж поделаешь? Свой мужик далеко, а чужого не купишь. Ты, может, и поесть хочешь?

Не дождавшись ответа Сорвихина, Казачка нырнула в чулан. Потом они ели картошку со сметаной, закусывая ее малосольными огурцами.

Сорвихин сильно опирался локтями на угол стола. Сидя, он казался прямым. Они говорили об умершей Афанасьевне, о погоде, о ценах на картошку. Наконец у Казачки само собой сорвалось с языка:

— Что ж, Ваньку теперь возьмешь в дом?

Сорвихин отодвинулся от стола, кистью руки обмахнул колено слева направо.

— В волнах ничего еще не видно. — И встал с лавки. — Вот живешь ты хорошо. А там что у тебя, горница?

— О, там у меня... Да ты постой, поговорить надо. — Казачка плотнее уселась на лавке и поджала руки подмышки. Сорвихин осторожно опустился на заднюю лавку. — Что я тебе хотела сказать, Василий? Оберут тебя сроднички покойницы. Народ они голодный. Хоть тот же Душа. Ведь он сроду хлеба досыта не наедался. Возьмешь ты его, он, слов нет, сначала ублажать тебя будет, а как обживется, усвоится, и ты лезь на печь. Ребят целая куча, они поповский дом и то растащут.

Казачка погладила ладонями горячие колени. Сорвихин вскочил с лавки и взялся за картуз. Но она загородила ему дорогу, встала среди избы, раскинув руки в сторону. В белой рубаше, с красными ластовицами, в опрятной паневе, Казачка выглядела совсем молодой. Сорвихин с трудом отвел от нее взгляд и медленно стянул с головы картуз.

Он пробыл у нее весь день, до сумерек.

## 8

На похоронах тетки Ваня-Душа сбился с ног. Вдвоем с женой они обрядили покойницу, позвали черничку читать псалтырь, Ваня сам сколотил гроб, вырыл могилу. Варька прибрала в доме, наварила на поминки кулеша и лапши, испекла пироги.



Смерть Афанасьевны глубокого горя у них не вызвала: тетка была скупенька и неприветлива.

Видя равнодушную покорность Сорвихина, Ваня был уверен в том, что теперь обещание покойницы исполнится.

— Похлебали мы горя, Варька, теперь хватит! — говорил он жене. — Два века дядя жить не будет. Ты то возьми в ум. При своем доме, да еще дядя поможет, лошадь купим, свое хозяйство заведем. На ноги встать дорого, а на ноги встанешь, оно само все потечет. Нынче свою землишку обработал, на другой год у людей прихватил, а то и барской десятинку снял. Год за год, копейка за копейку, мы такое кадило раздуем, что приходи, кума, любоваться.

Говорил это Душа с такой убедительностью и верой, что Варька светлела: разве может, в самом деле, обойтись Сорвихин без бабы в пустом доме?

В самый день похорон «паровая» тронулась на дальние хутора. Сорвихин пришел на кладбище к самому концу. Он молча постоял над глиняным бугорком и неловко потер глаза рукавом рубахи. Потом, не сказав никому ни слова, пошел вслед за «паровой», которую тащила шестерка лошадей.

Душа нагнал его за углом кладбища. Он надеялся, что сейчас, тронутый горем, дядя скажет ему последнее слово о доме. Но Сорвихин только глянул на него через плечо и с сердцем сказал:

— Ты там поаккуратней. Не хâпай.

Прошли две недели. Душа совсем почти перебрался в дом Сорвихина. Его ребятишки облазили все чердаки и закоулки, приладили себе в

сенях качели. Когда Варька пожаловалась на плохую тягу в трубе, Душа обследовал боров и в тот же день сломал на своей избе трубу, перетасил кирпичи к Сорвихину. Он переложил трубу, вычистил двор, укрепил плетневые колья. Но в горницу, где хранилось теткино «добро», Душа не ходил сам и не пускал жену.

— От греха, баба. Ты сходишь туда безо всякого, а люди разблаговестят, что грабим. И дяде думаться не будет.

В тот день, когда Ваня-Душа положил на трубе последний кирпич, прошел слух, что Сорвихин сидит у Казачки. Душа заметил, как побледнела при этой вести жена, но сам он духом не пал.

— Варюша, шевелись! Надо дядю принять как гостя, чтоб он наше уважение чувствовал.

Душа сбегал в лавочку за селедкой, прихватил по пути бутылку бражки. Варька умыла ребятешек и рассажала их по лавкам, приказав молчать и не лезть при дяде к столу.

Сорвихин показался в переулке под вечер. Он шел, спотыкаясь и не отрывая глаз от земли. Душа встретил его на крыльце. Сорвихин прошел мимо него, не повернув головы. Смущенно потоптавшись, Душа последовал за дядей в избу. Сорвихин остановился среди избы и задержал взгляд на Душе. Варька подсела к девчонкам и отвернулась к окну.

— Что, обживаешь? Тебе кто дозволение давал?

Душа переступил с ноги на ногу, словно под ним лежала раскаленная сковородка.

— Да ведь... дядюшка...

— Я давно дядюшка! Чтоб я вас больше не

видел! Ишь, расселись! Как званые гости у праздника!

Душа осторожно обошел его и взял на руки меньшую девчонку. Варька пошла к двери вслед за мужем.

Сорвихин крепко прихлопнул за ними дверь.

9

Скоро о связи Сорвихина с Казачкой заговорило все село. Он без стеснения дневал и ночевал у нее, перестал варить дома обед и даже свел к ней на двор корову.

Когда его спрашивали об этом, он скупо отрезал:

— Продал. С меня и чужого молока хватит.

— Оно и видно, — качали головами мужики. — Тебе теперь всего по горло, а Казачке все мало. Она, брат, кого хошь растрясет.

Всю осень Сорвихин копался на Казачкиной усадьбе: подзаплел плетни, разобрался в риге. Всякий день он заходил в лавочку, покупал баранок к чаю, селедок, а то и конфеток. Когда он подавал покупку Казачке, та отнекивалась:

— Ой, что это ты, Василий! Ведь это начётисто, каждый день с гостинцами. Ты меня, как молодую девку, улещаешь.

Лицо ее при этом розовело, и в глазах вспыхивали горячие искры. Сорвихин по-бычьи наклонял голову.

— Пока есть, для тебя ничего не жалко.

Вначале Казачка редко вспоминала Максима, и Сорвихин временами забывал о том, что у его подруги есть живой муж. Но однажды зимой,

когда Сорвихин, по обыкновению, вошел в избу со свертком, он увидел на задней лавке большого черного мужика. То был Максим.

За чаем Сорвихин все время следил за Казачкой. Когда она слишком близко придвигалась к Максиму, он сжимал под столом кулаки и готов был полезть в драку.

Напившись чаю, Максим вытер пот с мясисто-красного лба и сказал:

— Мы тут с бабой совет поимели, Федотыч.

— Об чем это? — хмуро спросил Сорвихин, не знавший, куда клонит Максим.

— Об жизни. И пришли к такому согласию. Человек ты уж в немолодых годах, а мы живем одни. Коли есть твое такое желание, докормим мы тебя. Обижать не станем. Как сами, так и ты...

Василий посмотрел на Казачку. Она сидела смиренно и разглаживала ладонью скатерть. Он сразу понял все и согласно кивнул головой.

— Ну, вот и быть по сему. — Максим положил на стол круглый кулак и усмехнулся. Сорвихин обратил внимание на его губы. Они были вишнево-красны и по-девичьи пухлы. «Дураков и годы не берут», — неприязненно подумал он и разгладил усы.

— К примеру, и так сказать, в хоромах будешь жить, — продолжал Максим. — Твою хибарку мы продадим, на весну я лошадь куплю, с места разочтусь, дома хозяйствовать начнем.

Когда Сорвихин уходил домой, Казачка выскочила за ним, торопливо зашептала:

— До него уж слух дошел про тебя. Приехал туча-тучей. Я вижу, дело плохо, говорю, что ты потому часто бываешь, что в дом просишься.

Повинилась, что без него на это пошла. Ну, отошел и про глупости ни слова.

Сорвихин тяжело взял ее за плечи.

— Ты... Забудь и думать. Тобой я только... Проводи ты его за-ради бога скорее.

В день отъезда Максима Сорвихин попытался было завести деловой разговор.

— Как же мы дело-то совершим? — спросил он, ни к кому не обращаясь прямо. — Надо какое-нибудь условие написать. А то на каких правах я буду жить, никто не знает.

Максим растерянно поглядел на жену. Он готов был согласиться с Сорвихиным, но его перебила Казачка:

— Что ты, Василий? Иль мы не по душевному согласию сошлись? Да и зачем нам эта бумага? По бумаге хорошо жить никого не заставишь.

И она так посмотрела на Сорвихина, что ему показалось, будто она сейчас во всем откроется Максиму. Он замахал руками.

— Не об том я! Бумага, на кой она нам! Понимаешь, я вот об этой душевности.

Все сошло благополучно. Проводы Максима получились мирные. А вечером, устивая постель, Казачка вдруг горько сказала:

— Нет, Василий. Чует мое сердце, что насмеешься ты надо мной. Поиграешь, и выйдут мне одни слезы, а тебе удовольствие. Вот безделицу еще живем вместе, а ты уж условие писать собрался. Что же дальше-то будет? Я-то с тобой условие не писала?

Сорвихин долго не мог ее успокоить и очень жалел, что неосторожное слово слетело у него с языка.

На другой день он перевез к Казачке старухины сундуки и окончательно забил досками окна своей избы.

Казачка держалась безучастно, часто приваливалась на лавку, перевязала голову полотенцем. Она подала Василию ключи от кладовки.

— Ставь свои сундуки и держи ключи от греха при себе. Чтобы душа моя была чиста.

— Что это такое? — озадаченно спросил Сорвихин.

— Мне и одного греха не замолить до гроба.

Казачка ткнулась лицом в подушку.

Сорвихин убрал сундуки и вернулся в избу.

Растерянно позвеневав ключами, он положил их на подушку, рядом с головой Казачки.

— Вот что, Саша. Хотел я тебя исподволь баловать старухиным добром, да, чую, сердце не утерпит. Бери и распоряжайся. От тебя у меня потайности нету.

Казачка повернулась к нему лицом. Сорвихин вздохнул свободнее.

В эту зиму у Казачки начала осуществляться мечта о полном доме, а в тускнеющие глаза Василия заглянула молодость, бесценная в своей последней свежести...

Вскоре после отъезда Максима Сорвихин поступил сторожем в волостное правление. Он коротко подстриг бороду, сельский цырюльник Фан-Фаныч срезал его скобку и соорудил на его голове ерша. В подержанном костюме, с бархатной жилеткой, в шляпе и в штиблетах вышел Василий в первый солнечный день на речной ледоход.

— Побыл мужиком, и будет, — с насмешливой серьезностью говорили ему мужики.

— Оно и правильно! А то что мы весь век чумазые ходим. Хоть один мужик из всего села да прыть свою покажет. Верно, Федотыч, не робь, барин из тебя получился форменный. Как Саше-то, приглянулся?

Сорвихин отмалчивался. Насмешки увеличивали его стойкость. Он старался ходить прямее, сдвигал неудобную шляпу на затылок.

Когда он пришел домой бритый и поджарый, Казачка покачала головой.

— Чисто миколаевский солдат! Что ж, Фан-Фаныч-то взбесился? Поаккуратнее постричь не мог?

От дальнейших разговоров по этому поводу Сорвихина избавила щука. Он купил ее у рыбаков, счастливо закинувших наметку под барским садом. Щука была огромна. Рыбу взвесили. В ней оказалось восемнадцать фунтов.

Мокрые, охрипшие рыбаки вызывали покупателей: им хотелось скорее послать за самогонкой. Заохотились было поп и старшина. Но когда рыбаки назначили цену, покупатели остыли. Тогда из толпы вышел Сорвихин и подал старшему рыбаку пятирублевку:

— Давай сюда своего зверя, я с ним слажу.

И перед лицом сельской знати он взвалил еще живую рыбину на плечи. В эту минуту он чувствовал себя богаче и важнее всех на свете.

Щука поразила Казачку. Она принялась хлопотать около рыбы. Василий подходил к Казачке, та оглядывалась на него, поводила плечами:

— Что ты ко мне ластишься? Чего ты во мне хорошего нашел? Иль баб лучше меня нету? Ведь ты меня так балуешь, все равно, как барин барыню.

Сорвихин хлопал ее ладонью по спине:

— Когда надо, мы и от барина не отстанем.

Они гуляли всю ночь. В избу набились какие-то бабы, они льстиво хвалили Василия, хватали крупные куски рыбы и многоречиво выражали свою зависть к Казачке:

— Счастливая ты, Шаша! Сто сот такой постоялец стоит. С ним жить — не прожить.

А утром на Сорвихина напустился старшина:

— Эй, ты, холодный барин! Объялся рыбы-то и спишь до обеда! Что ж, прикажешь мне самому за тебя присутствие подметать? Смотри, брат, я тебе живо перо вставлю!

За столом, захлебываясь, смеялись писарь и помощники. Один из помощников посоветовал:

— Чтобы не опаздывать на службу, надо часы иметь. Ты бы, господин Сорвихин, завел себе это приспособление. От часов совсем другой шик и к тому же польза.

Сорвихин стерпел обиду старшины и запомнил совет помощника.

Когда дьякон расплатился с ним за купленную на снос избу, он сходил в имение и купил у конторщика большие, луковицей, часы в прозрачном футляре, на толстой, с серебряной лошадиной головой, цепочке. Он с неделю не мог привыкнуть к тиканью часов, ему все казалось, что тикает у него в животе. Он то и дело вынимал луковицу из жилетного кармана и прикладывал к уху. Смущало одно: ни он, ни Казачка не умели узнавать по часам время. И не один раз в день Сорвихин перехватывал в прихожей писарей и просил:

— Глянь-ка, пожалуйста, который теперь час?



Казачка держалась весело только при Сорвихине. Он начал ей надоедать. Ночью он затажно и мучительно кашлял, и в груди у него хрипело на разные лады. По ночам он не раз будил ее и начинал выпытывать насчет Максима:

— Нечего ему дома и делать. Живет на стороне — и пусть живет. Или тебе мало меня одного?

Казачка отвечала уклончиво. Сорвихин понижал голос и неистово чесал волосатую грудь:

— Это что же? Сама говорила, что в согласии, а теперь винтишь...

— Цветы хороши майские. Мало ли что было!

— А если я теперь без тебя пропасть должен? Я твоего Максимку убить могу.

— За это ответишь.

— Я и так ответил. Я всю свою жизнь для тебя растрес, ничего не пожалел.

Разговоры кончались размолвкой. Сорвихин уходил из горницы, хлопая дверью, и возвращался под утро, сырой от росы и примиренный. Он опять садился на кровать, низко, почти к самым коленям склонял голову.

Казачка отмалчивалась. Она не решалась на открытый разрыв из боязни, что от нее снова утечет заглянувшая удача. Прибыток в доме превзошел ее ожидания. Корова, овцы, пятипудовая свинья, хохлатые и ноские куры — все это внесло такой живой шум в мертвые стены дома! У Казачки кружилась голова. Дни в суете растянулись, и к вечеру ей было не до Сорвихина. Он попрежнему приносил из лавки гостинцы. Казачка ела твердые, как хворост,

баранки, но на ночь запиралась от Василия в горнице...

Сундуки Афанасьевны давно были опустошены. Все лучшее Казачка попрятала в свою укладку, а лишнее утекло в люди. Не одна девка получила от нее полное приданое. Казачка брала с девок деньгами, окороками ветчины, пшеном и маслом. Люди пряли ей шерсть, вязали чулки.

Казачка знала, что сельские богачи, хоть тот же Мячин, разжились землей, откармливали скотину и продавали ее весной за тройную цену. И на всех на них работали люди, обедневшие родственники, должники.

— Хлебушек всякому нужен, вот и жаждут люди поработать на другого, — говаривал ей старый лавочник Коныч, к которому заходила иногда Казачка. — В нашем деле дороже всего хлебушек. Придет весна, сядет малосильный народ на бороний зуб, в это время пуд хлеба сотню стоит. Как не поработать на меня, когда я иного от сумки отвожу? Он рад-радехонек, сам напрашивается; а не позовешь, — обидится.

Казачка составила план покупки к весне двух лошадей, присмотрела себе работника и даже сняла в аренду два надела чужой земли. Она уж видела, как бабы, ее должники, будут работать за нее в поле, будут молотить цепами хлеб и как она будет расплачиваться с ними обильными обедами.

И так все получалось складно, жить бы да радоваться, если б не Сорвихин. Он лез к ней с разговорами, изводил попреками, требовал, чтоб она ходила с ним по селу рядом. Терпение Казачки истощалось. Она слала Максиму письмо

за письмом с просьбой «как ни можно скорее ехать домой». И из последних сил ублажала своего постояльца. Тот ходил, словно угорелый, накупал ей в лавке всякой дряни. Она знала, что лавочник давал все это Сорвихину в долг, пыталась выведать, подо что метит лавочник, но ничего не добилась.

— Мы с Василием дружки старые! — смеялся Конюх. — Да ты не сомневайся, ты свое с него взяла, другим уж немного осталось.

Казачка смиренно отводила взгляд и заговаривала о другом. Ей было известно, что Сорвихин еще по осени укрепил за собой свой душевой надел, и при мысли об этом у нее холодело сердце: земля была последней и самой дорогой собственностью Сорвихина.

Максим приехал к вешнему Николе. Он привез с собой пустой сундучок и тринадцать рублей денег.

— Какое имение приволок! — сквозь зубы рассмеялся Сорвихин в лицо сияющей Казачке. Казачка промолчала.

## 11

С приездом Максима Сорвихин стал ночевать в волостном правлении. Помутневший, обросший, он /раза три в день проходил селом на гору, к дому Казачки. Стоявшие у крылец мужики смеялись.

— Соскучился? Оно, конечно, тянет. А тут еще свояк прикатил. Забота живая.

Раньше он не обращал на это внимания, но теперь каждый такой намек ударял в сердце, тем

более, что Казачка перестала притворяться, открыто избегала его и даже грозила пожаловаться Максиму.

Попрежнему Сорвихин носил из лавки закуски и сласти. За едой то и дело подкладывал Казачке лучшие куски. Казачка принимала и, сыто потягиваясь, говорила:

— Напираешь ты на меня, Василий, а мне, глазки усни, не хочется. Может, ты съешь, Максим?

Максим согласно кивал головой и ел все подряд, облизываясь. У Сорвихина накалилось бешенство. Он готов был броситься на Максима и разорвать ему его противный ненасытный рот.

Казачка не выходила, как прежде, провожать Сорвихина и не замечала его знаков. Сколько раз Сорвихин часами простаивал за углом избы, надеясь, что Казачка урвет минутку и выйдет к нему. На селе тоскливо пели девки. За стеной горницы слышались глухие голоса. Иногда скрипела наружная дверь. Сорвихин припадал к углу. На темном небе вычерчивался большой и противный облик Максима.

Один раз вместе с Максимом вышла и Казачка. Они долго стояли у двери. Казачка, посмеиваясь, говорила:

— Мне глупости эти и на ум не идут... Василий! Ему уж умирать пора, разве я на такого польщусь?

Максим кряхтел и шумно чесался:

— Народ зря не выдумает...

— Что ж народ? Чиста я перед богом и добрыми людьми. А что я посмеюсь с ним, потешу его, так это для пользы дела.

— Я к тому...

— И я к тому же. Меня не убудет, а в доме прирост. Ну, иди, иззябла я вся...

После таких ночей Сорвихин уходил на дальнюю речную луку и просиживал в камышах до утра. Оранжево пылала на заре река, хорошо и тоскливо кричали кулички. Голодные окуни и ерши клевали на лету.

Словно чувствуя, что Сорвихин задумал недоброе, Казачка встречала его веселая; она принималась жарить рыбу, усаживала Сорвихина в передний угол, давала ему чистое, как гостю, полотенце. И так случалось, что Максим, отведав рыбы, уходил в ригу. Казачка, крадучись, подходила к двери и бралась за крючок:

— Дверь чтой-то отходит. Запереть, что ли?

Сорвихину казалось, что лавка под ним падала вниз. Он, плохо владея ногами, вставал и приближался к Казачке.

Однажды, когда он, сытый и счастливый, шел с горы в волостное правление, его поманил из двери лавочник.

— Зайди по небольшому дельцу!

Коныч был мал ростом, стар, но еще верток и говорлив. В лавке у него пахло красным товаром и свечами. В углу, как глаз соглядатая, краснел огонек лампы. Коныч прилег грудью на скользкий прилавок и, пощелкивая костяшками счетов, поглядел Сорвихину в самые глаза.

— Что я тебе хочу сказать, куманек? С долгишком у тебя неловко получается. Ты знаешь, моего препятствия не было, хотя, между прочим, я и догадывался, что рискуешь напрасно, а у тебя выросла такая сумма, что и моему карману лишаться этих денег начётисто.

Сорвихин не выдал своего волнения. Втянув

длинную струю дыма, он шире расставил ноги и согласно ответил:

— Знамо дело. Хорошо давать тому, кто отдает. А так, допусти нашего брата, мы чорт-те сколько наберем.

Коньч довольно потер руки.

— И вот, стало быть, подщелкал я за тобой весь забор. Набежало у меня... — (Сорвихин прикусил кончик цыгарки. В глазах у него родились острые звездочки.) Коньч послунил палец и привычно залистовал книгу. — Вот сам гляди. Восемьдесят шесть с полтиной.

Он захлопнул книгу и, заложив руки за спину, прошелся по лавке, остановился у стеклянной двери и со скучающим видом посмотрел на дорогу. Потом он подошел к углу с желтыми баранками хомути и встал под ними.

— Я думаю, что тебе такой суммы не собрать. Одно остается тебе: продать свою душевую землю. Я тебя не обижу, цену дам хорошую.

Сорвихин, не отрываясь, смотрел в лицо Коньча, следил за неуловимым бегом его серых водянистых глаз и за мельканием зеленоватых косяц бороды. Наконец он поднялся, отпихнул ногой табуретку и направился к выходу. У самой двери оглянулся на Коньча:

— Землю?

Потом плюнул на пол и захлопнул за собой дверь.

На улице стояла тишина. Разомлевшие куры, к дождю, купались в пыли. Пыль вспучивалась рыжими хвостами и быстро опадала. Пестрый щенок, визжа и взлаивая, кусал собственный хвост. И таким пустым и мертвым показался

Сорвихину весь мир, что захотелось провалиться сквозь землю. Он оглядел никлые ряды нахохленных изб, потом топнул оземь и вернулся в лавку. На выметенном полу его плевок зиял бельмом. Сорвихин снял шапку и осторожно вытер плевком носком сапога. Коныч следил за ним и быстро шевелил пальцами в бороде.

12

Около рабочей поры старшина уволил Сорвихина из сторожей. При расчете ему пришлось всего шесть рублей. Это были его последние деньги.

От сделки с Конычем он не получил ничего. Не разбираясь в бумагах, он понял одно, что Коныч взял землю почти даром, но на стороне лавочника были закон и начальство.

В полях уж золотилась рожь, близилась уборка, — что он скажет Казачке, когда она заговорит об уборке его посева, который отошел по купчей к Конычу?

В день получения расчета в волостном правлении Сорвихин зашел в кладовку. Знакомые старухины сундуки стояли без порядка, у некоторых были вывернуты пробои. Он смахнул с них пыль рукавом и, прикрыв дверь, сел. И в первый раз Сорвихин отчетливо осознал, что Марья в самом деле померла. Он вспомнил, что умирала она одна, он даже не пошел хоронить ее, поручив все хлопоты Душе.

Заболела Марья тогда от пустяка: после вязки хлебнула холодного квасу. Перемогаясь, она даже помогла ему вычистить и полить ток, но молотить отказалась.

Дня три отмалчивался он и не спрашивал старуху о болезни. С горем пополам намолотил на семена, убрал ток. Старуха кое-как двигалась, готовила еду. Но однажды она занесла ногу на порог и привалилась к притолоке, звякнув о пяльцы пустым ведром. Не раскрывая голубых, прозрачных век, она вымолвила:

— Видно, отходилась, мужик. Воду на дорогу вылила.

Он тогда принес воды сам, чего не делал много лет. А вечером пришлось доить корову. С непривычки ему долго не удавалось держать в коленях подойник. Корова не ела траву, оглядывалась, взмахивала хвостом и переступала ногами. Расплескивая молоко, он передвигал скамеечку и мирно просил:

— Ногу! Ну, ногу!

Но выдержки хватило не надолго. Отставив в сторону подойник, он несколько раз огрел корову кулаком по кострецам. Напуганная корова прибилась боком к стенке. Ноги ее мелко и часто дрожали. К концу дойки у него непереносимо заломило ладонь, а большими пальцами трудно было шевельнуть.

Утром он подумал было позвать к старухе фельдшера, да помешал Афонька Черный. Он ввалился в избу и весело сверкнул цыганскими глазами.

— Собирайся щи варить, Василь Федотов! Нынче вино пить, а завтра пылить начнем.

И Черный так тряхнул бородой, что сразу стало ясно: артель собралась дружная, и подрядчик не поскупится на магарыч.

После того, как Афонька ушел, он вынул из-под лавки кожаные с веревочными подошвами



сапоги и достал с полки заготовленный фартук. Оглянувшись на старуху, он заметил, что она слегка привстала и манит его пальцем. На ее осунувшемся и прозрачном лице трепетал солнечный зайчик, и от него глаза ее казались золотыми. Расстегнутый ворот рубахи глубоко открывал костлявую грудь с узлами ключиц.

Старуха пожевала сухими губами:

— Не ходи, старик, дома дела будут.

Он положил на лавку фартук и сел рядом. Старуха устало хватнула ртом воздух и прилегла. Солнечный зайчик вспрыгнул на печную приступку, обежал горнушечку с табаком и багровым глазком прилип к кирпичам.

— Умру я, ты уж брось свою блажь-то. Кто тебя по шинкам искать будет? Погибнешь где-нибудь в лощине пьяный, срамной. Варваремученице помолись, да с усердием, она на тебя взглянет. Да не матюкайся. Ведь это молоденькому пристало, а старику от бога грех и от людей совесть. В дом другую бабу не бери. Кому ты нужен? Добро мое блюди себе на расход, а мне на помин. Корову...

Он решительно поднялся с лавки и закинул фартук на плечо.

Над постелью вскинулась восковая рука старухи.

— Так и пойдешь?

— Нет, верхом поеду!

И чтобы не слышать ответа старухи, он широко распахнул дверь и так захлопнул ее за собой, что охнуло в потолке.

...Сорвихин покрутил головой и раскрыл самый береженный покойницей сундук. Он был пуст. На дне его валялись связанные лоскуты и

клубки пряжи. Он вынул один клубок, покачал его на коленях. В клубке что-то погромыхивало. Сорвихину нестерпимо захотелось узнать, что там положила старуха. Ему поверилось, что, найди он эту заложенную в клубке тайну, теперешняя жизнь его распутается и пойдет чередом.

Нитки кольцами складывались у ног. Под последними пасьямами завиднелся клетчатый узелок. Теперь громыхало совсем ясно. Конец нитки упал на колени. Сорвихин развернул тряпочку: в ней был завернут коричневый и блестящий орех-тройчатка!

И вспомнил он так ясно, будто это было вчера:

Они шли с Марьей с преображенского торга на Осиновой горе. Тогда они еще жили в семье. На утаенные от старшего брата деньги он купил ей козловые полусапожки и два заграничных платка. Марья сияла от счастья и все льнула к его рукаву. И так, тесно столкнувшись плечами, они прошли через все торжище. Вихрем уносились куда-то в сторону карусель. Мальчишки дудели в глиняные свистушки. По самой середине улицы большой толпой шли девки. А на всех полянках, около телег, горами лежали огурцы, яблоки, арбузы. Над подводами пчеловодов грузно вились ошалевшие пчелы, они падали в пыль и тысячами гибли под ногами.

По пути к дому они завернули в орешник. И тут Марья сорвала этот орех. Разглядев его, она засмеялась:

— Ой, Васильюшка! Тройчатка!

Он тогда скупно отозвался:

— Диковина какая!..

— Нет, это счастье наше.

...Мимо двери протопал Максим. Легкие шаги Казачки заставили Сорвихина насторожиться.

— Что-то наш заскучал? — сказал Максим.

— Заскучаешь, — ответила Казачка и загадочно рассмеялась.

Голоса заглохли. Сорвихин тупо смотрел в угол. У него огнем горела голова, будто с нее сдирали волосы. Он спрятал орех в карман и принялся вновь наматывать клубок. С каждым оборотом руки вокруг клубка в нем крепло решение немедленно, сейчас же, порвать с Казачкой, взять свое добро, опять завести свой угол.

Ночью он сидел под мельницей с удочками. И сюда к нему неожиданно пришла Казачка. Она молча опустилась рядом с ним и, сорвав травинку, взяла ее в зубы. Когда он напомнил ей о подслушанном разговоре с Максимом, она ответила:

— Что ж я с ним поделаю? Ведь он му-уж! Ведь он убьет нас обоих.

Она пробыла у него до утра. Проводив ее, Сорвихин сунулся в карман и обомлел: орехатройчатки там не было!

Целый день он напрасно проискал его по тальникам, на лужайках, где присаживался с Казачкой.

На селе были уверены, что скандала в доме Казачки не миновать, но никто не ждал его так скоро.

На казанскую служили обедню с водосвятием. Когда народ поднимался от реки к церкви, Ка-

зачка — она шла вслед за попами в числе сельской знати — столкнулась с Душой.

Душа загонял попову корову и нечаянно задел концом хворостины Казачку. Хворостина оказалась грязной, и на цветном платке Казачки остался след. Они побранились. Казачка упрекнула его сорвихинским добром. Душа ожесточился и, что с ним редко бывало, выругал Казачку нехорошим словом.

— С чужого думаешь расцвествь? Не получится! И на тебя придет погибель!

— Лоскут вешний! Портки зашей, тогда и разговаривай!

Казачка рассмеялась в лицо Душе. Когда она догоняла толпу ушедших вперед, он крикнул ей вслед:

— Эй, барыня! С земелькой-то простишь. Она у Коньча за пазухой!

Казачка не дошла до церкви. Подхватив подол цветной юбки, она свернула в сторону и задами побежала домой.

Когда после обедни люди сели обедать, на конце села поднялся шум. Народ высыпал на улицу, как при пожаре, и побежал вдоль изб на гору.

У Казачкина крыльца сразу выросла толпа. Задние напирали, сисясь через плечи стоявших впереди разглядеть, что творилось на крыльце. Ребятишки забрались на ветлы и оттуда выкрикивали, сообщая о ходе событий.

У крыльца стоял Максим. Рубаха на нем была разорвана от воротника донизу, и при каждом его движении концы трепались, как крылья. Он держал за рукав Сорвихина, подтягивал к себе и вновь отталкивал. От каждого толчка голова

Сорвихина далеко запрокидывалась назад. С усов его падала кровь и под глазом набухал синяк.

Казачка металась по крыльцу, ныряла в сени и выбрасывала оттуда какие-то тряпки, валенки:

— Все, все забирай! Нам твоего не надо!

А Максим все трепал Сорвихина:

— В моем доме нагадил, да еще и драться! Я тебе покажу, как в рыло заезжать!

Он ударял Сорвихина с левой. Тот валился на сторону, но упасть ему Максим не давал, крепко держа за руку.

Кто-то из толпы выкрикнул:

— Вот это по форме! Так, Максимушка, действуй!

Наконец их разняли. Сорвихин, вытирая кровь, не отходил от крыльца, твердил одно:

— Заманули, а теперь бить? Заманули?

— Кто тебя манул? Кому ты нужен? А, люди добрые! — кричала с крыльца Казачка. — Люди добрые, посудите! Кому он нужен? Я за тебя только грех принимала!

Максим размахивал руками и все пробивался к Сорвихину.

— Добро спрашивает? Дайте, я ему еще ввалю! Пустите! Какое твое добро? Гнида! Все размытарил, а с нас спрашивать!

— На вас же и размытарил!

— На нас? — Казачка всплеснула руками.

Сорвихин затравленно огляделся и, растолкав мужиков, подскочил к Казачке. В руке его сверкнул нож. Народ ахнул, и никто не догадался броситься на выручку.

Все произошло в одну короткую минуту: Сорвихин занес над головой нож, но вдруг рука его

опала, нож выскользнул и зазвенел о камни ступенек.

Сорвихин сошел с крыльца, сел на свое добришко и обнял голову ладонями.

Вечером он привел к Казачке старосту и понятых. Мужики, недовольные отрывом от работы, подсмеивались над Сорвихиным тонко и зло:

— Шляпа, брюки на улицу, часы. Все это что-нибудь да стоит.

— Опять же и холостым заделался. Вот оно в голову-то и стукнуло.

Казачка вертелась около мужиков, рассыпала речистые жалобы на Сорвихина:

— Корову он нам продал. Об этом все знают. Избу и землю прожил сам. Чего же с нас-то искать? Мы квиты.

Под конец староста строго сказал Сорвихину:

— Не канителься ты. Бумаг у тебя никаких нет, судись — не судись, а по-твоему все равно не выйдет. Бери, что им не жалко, и с богом. А если что и пошло твое на них, то ведь и так сказать, — все берут людей для своего интересу. Собаку и ту кормят, чтоб брехала.

Начался суд.

И странное дело: все кругом, да и судьи, знали, что Казачка обобрала Сорвихина, но никто не сказал в его защиту ни одного слова. Волостной суд Сорвихину в иске отказал, не изменил решения и земский начальник. Дело начало глохнуть. Сорвихин перебивался кое-как, ночевал по чужим углам, а когда нечего стало есть, надел через плечо сумку и пошел по дальним селам просить милостыню.

Звал его к себе Душа:

— Иди, дядя. Зла я твоего не помню. Мало ли что было.

Но Сорвихин не согласился и за все времена разу не зашел в избу Души.

Осенью,— уж пали морозы, и в колеях дорог лежал ослепительно-белый снег,— Казачка справляла именины Максима. Гости у нее сидели долго, пели песни, плясали. Под окнами у них толпились девки. Кое-кто из девок заметил около крыльца Сорвихина. В легоньком пиджачишке, в картузе, он зябко жался к перилам, заглядывал в сени, а потом куда-то пропал.

Говорил кое-кто, что, провожая гостей, Казачка заметила на крыльце своем неладное, но не подала при гостях вида, проводила их с плясом. А утром ехали мужики в лес и увидели в канаве заоченевший труп Сорвихина. По следам на снегу видно было, что его сюда несли: один большой в валенках, другой в кожаных сапогах с острыми каблуками. И след будто вел к Казачкину крыльцу.

Но дознаваться никто не стал, и Сорвихина схоронили на церковный счет, «как погибшего от физической стихии»,— так записал в скорбной книге понамарь

#### 14

Война перевалила на четвертый год, она стала привычной; всем казалось, что так и должно быть: где-то бьют, калечат людей, берут в плен, а в селе вдовеет добрая половина баб. Старшина с писарем богатели на солдатских пособиях, богатые мужики опахивали почти все поле, ухит-

ряясь увертываться от призывов; нищета ела лебедовый хлеб.

И когда по весне докатились слухи о свержении царя и о близком конце войны, многие не знали, к добру это или к худу.

Счастливо обернувшаяся история с Сорвихиным окрылила Казачку. Она тормозила Максима, не давала ему покоя. Максим поддавался ей туго. В последнее время этот гладкий, толстозадый мужик начал жаловаться на грыжу, плохо спал и еле волочил прямые, будто намертво приделанные к туловищу ноги.

— Да качнись ты, деревянный! Не распускай самого себя. Через год-два мы жителями станем, я тебя в старшины охлопочу. Жисть-то какая начнется!

Но Максим молчал и не поднимался с лавки. Он поступил было в имение конюхом, но скоро ушел: за две недели у него пали две лошади. После расчета он залег в горнице на кровать и больше не встал. У него опухли ноги. Скоро опухоль налила низ живота, и к рабочей поре, когда мужики самовольно стали косить барскую рожь, Максим умер. На похоронах Казачка «кричала» в голос, рвала на себе волосы, но мало кто верил в искренность ее горя.

События в селе развивались. Каждый день назначались собрания, они были многолюдны: всякому хотелось знать, что еще придумает новая власть.

На собраниях Казачка проходила к самому столу; она, не смущаясь, перебивала иногда стариков. Даже Аксен Мячин, которого побаивались мужики, даже он ни разу не оборвал



Казачку. Правда, смиренность Аксена объяснялась не только уважением к нарядной Казачке. Революция растрепала заведенный им порядок жизни. Его семья состояла из тридцати душ. Аксен давно поженил внуков и твердо правил домом. Все его сыновья, кроме одного, служили на стороне: один урядником, второй волостным писарем, а двое остальных — старший Иван и меньшей — жили в имениях конторщиками. Сыновья аккуратно высылали отцу свое жалованье и редко приезжали домой к своим бабам, которых Аксен решительно не отпускал к мужьям: «От дома отобьются, работать разучатся. Для нас баба не забава, а работница. Сыновья два раза в год бывают, бабы не пустуют, люльки в доме не переводятся — чего ж больше?»

Революция пригнала мячинских сыновей домой. Вначале снисходительные к домашней суете, они скоро втянулись в дразги баб, между братьями начались недомолвки и ссоры. Аксен теперь целыми днями сидел на крыльце и нюхал табак. Раздел дома вставал перед ним страшной угрозой.

У Мячина было три избы. Бездетный урядник уж выразил желание уйти жить к тестю. Но все равно один сын оставался без дома.

Старик пока ничего не говорил сыновьям, но те сами догадывались, над чем он ломает голову. Больше всех задумывался старший, Иван Аксеныч — тихий, небольшой, со светлой, клинышком, бородкой. У Ивана Аксеныча было два женатых сына и целая куча подростков. Он понимал, что ему, как старшему, придется уходить из дома, и надо было к этому готовиться.

Однажды он умылся с мылом, надел рубашку с галстуком, парадный пиджак и через задние ворота вышел из дома.

Когда он появился у Казачки, та мыла в чугуне молодую картошку. Она обмахнула лавку концом фартука и пригласила гостя сесть. Иван Аксеныч оглядел углы и вынул табакерку.

Вначале разговор не вязался. Казачка продолжала мыть картошку, из-под руки взглядывая на Ивана Аксеныча.

Наконец тот положил руки на стол и, вертя между пальцев отсвечивающую гранями табакерку, глянул Казачке в глаза:

— А я к тебе, Александра Дмитриевна, по чрезвычайному делу.

Казачка вытерла руки и присела на заднюю лавку.

— Видишь ли, тебя постигло несчастье, царство небесное Максиму Афанасьевичу. Осталась ты одна. Замуж тебе выходить не с руки, в дом тоже приводить чужого человека невыгодно... Не продашь ли домик свой?

Казачка положила ногу на ногу и повела головой в сторону. Иван Аксеныч встрепенулся:

— Ну, ясное дело, такого дома лишиться трудно. Но если так еще сказать: человек я денежный, люди обо мне понимают. Жалованье я получал и буду получать хорошее. В харчах мы сроду не стеснялись...

Он то и дело подносил к носу щепоть, табак зеленой пылью сыпался ему на усы, на бороду.

— Возьмешь меня в дом, не потужишь. Барыней живешь, барыней и останешься. Лучший кусок твой; как за малым ребенком ходить будем.

Он ушел усталый и мокрый, будто вымылся в бане.

Дня через три он снова пришел к Казачке, но уже с женой. Он принес с собой бутылку мутного спирта и большой обрезок ветчины. Анна, жена его, вынула из-за пазухи десяток яиц. Казачка потянула из стаканчика лишнее, покраснелась, затянула песню. Перед уходом Иван Аксеныч развернул запрятанный во внутренний карман сверток и раскинул перед туманным взором Казачки большой цветастый платок.

— Сама графиня Игнатьева носила, а теперь он покроет плечи другой барыни. Вот тебе, Александра Дмитриевна, мой скромный подарок.

Еле сдерживая пьяный смех, Казачка набросила платок на плечи и вскоре дала свое согласие взять в дом Ивана Аксеныча со всей его семьей.

Глубокой осенью, когда в селе носились слухи о перевороте в Петрограде и о разрушении Москвы, Иван Аксеныч, вновь избранный секретарь волостного совета, утвердил свой договор с Казачкой и перевел семью в новое жилье.

## 15

Казачка недаром прожила свои сорок восемь лет. Она сразу поняла, что Мячин — не Сорвихин и что, вселяясь к ней, Иван Аксеныч надеется стать в доме хозяином. Вначале она от договора отказалась: «Из своего дома я и без договора в любой час вышвырну», но потом передумала. Она выговорила себе право жить от-

дельно в горнице, на нее должны стирать, шить, бабы обязывались ткать и белить ее холсты; у нее должны храниться ключи от амбара.

— Облапошит она тебя,— с гримасой боли сказал Аксен своему старшему сыну. — Ей не впервой из людей кровь высасывать. А сказать по правде, теперь уж податься некуда. Вертись. Кто кого перевертит.

Зиму Казачка провела так, словно гуляла у богатой родни на празднике. Анна и снохи сбились с ног, угождая ей. Дом распирало от обилия вещей. Три лошади, плуги, сеялка, косилка — все это заполняло двор, ригу, амбары. В подвале и на потолке висели окорока, узлы нетопленного сала. От двух коров некуда было девать молоко. Дом был переполнен людьми. Они загромождали его постелями, одежей, гвалтом, расшатывали лавки и двери, грязнили пороги. В большой избе висели две люльки, и непрерывные крики детей, ягнят под печкой создавали такой содом, от которого звенело в ушах.

Днем Казачка часто уходила к соседям. Она тщательно наряжалась, умывалась «духовитым» мылом, оставшимся еще от Сорвихина. Соседки, у которых она коротала дни, с завистью говорили:

— Совсем ты молодая, Шаша. И охота тебе было связываться с такой обузой? Взяла бы себе хорошего мужика в дом, жила бы, ни в чем стеснения не знала.

Жильцы начали ей надоедать. К весне она выселила из горницы молодых, перестала обедать за общим столом. Все ели из одной миски, вместе со взрослыми ели и ребятишки, они бранились из-за кусков мяса, бабы били их лож-

ками по головам. У Казачки кусок застревал в горле. К весне бабы перестали готовить ей завтраки и даже не взяли в стирку ее рубах.

— Сама, авось, не барыня. Промни зад-то; а то сидишь все время, ходить разучишься.

Начались стычки. Казачка заперла амбар и кладовки, убрала в чулан свою посуду и стала варить себе обед в горнице. Она решила перетерпеть до осени.

Но однажды все изменилось. Бабы опять начали угождать ей, сами напрашивались на стирку, через день мыли в горнице пол. Опять ее потчевали поутру яичницей, горячими пышками и для нее одной ставили самовар.

Иван Аксеныч не раз приносил с собой бутылочку спирта, угощал Казачку и баб.

После одной из таких гулянок Казачка проснулась поздно и долго не могла раскрыть глаз. Голова была тяжела, сознание мутилось, будто сон еще не прошел. В горницу к ней то и дело заворачивали бабы, они принесли ей земляники, предлагали съесть того и другого и так смотрели на нее, словно она собиралась отходить. К вечеру Казачке полегчало, а ночью открылась рвота. Ночь она вовсе не спала, забылась только к утру и больше не проснулась.

Ее неожиданная смерть всем показалась странной, но заниматься этим было некогда: начиналась уборка.

По случаю страды похороны устроили на второй день. Хоронили ее с певчими; на поминальном обеде кормили всех побирушек.

О Казачке начали было забывать, но не забыли о доме. Павел Пронин считал оставшийся

после бездетного брата дом своей кровной собственностью. Он съездил в город, посоветовался с подпольными ходатаями. Те сказали: «Договор — это могила. Там написано ясно: «Кормить до смерти, а после оной дом поступает в нераздельное владение Мячина». И хлопотать нечего».

Тогда Павел выпустил из рук последний козырь.

— Слухи — вода, а что женщина умерла не болеючи, дает подозрение.

Уездный крючок написал прошение, взяв с Пронина «по худому времени» два мешка картошки.

И весной в село приехала комиссия.

Вскрытие ничего не дало. Говорили, что Мячин задарил докторов, и хотя многие видели на шее Казачки синие подтеки, доктора обелили Ивана Аксеныча вчистую.

## 16

Прошло долгих десять лет. Давно сравнялись с землей боровки могил Максима, Казачки и Сорвихина, многие на селе даже забыли их имена.

На колокольне трепетал красный флаг, богомольные стежки заросли травой, зато широко пролегла через пролом в ограде новая дорога, изрытая стальными шпорами тракторных колес. А на выбитой луговине бывшего барского гумна стояли длинные, с тесовыми воротами, сараи. Над крышами сараев — вывеска: «Тракторный парк машинно-тракторной стан-

ции «Большевицкий путь». Новое строительство — двухэтажное здание школы, приемный покой и дома колхозников — развертывалось вокруг станции, по другую сторону села.

Мячины были раскулачены и высланы с первой партией кулаков. Душа, бывший в комиссии по выселению кулаков, рассказывал, что выйти из дома Иван Аксеныч отказался наотрез. Его взяли под руки и мешком потащили к дверям. Он упирался, плакал и даже пытался укусить за руку своего провожатого. На улице он вырвался, обежал вокруг двора, потом хлопнулся на землю и начал хватать ртом сырой мартовский навоз.

Сам Ваня-Душа продолжал жить в избушке умершей кузнечихи. Изба давно просилась на слом, передняя ее стена по самые окна погрузилась в землю, крыша поросла лебедой, и зимой в избе стоял такой холод, что воду в ведре приходилось рубить топором. Подросшие ребята с горьким озлоблением говорили о своем «дворце». Каждому из них хотелось иметь свой угол, отдельную кровать. Но, как ни ломал голову Душа, ничего у него не получалось. Да и некогда было заниматься этим делом. Он долго «ходил» председателем сельсовета (его выбрали в насмешку: «председатель голяк, и с нас власть меньше спросит»), потом был членом комитета бедноты и одним из первых вступил в колхоз.

За последние два года дела складывались хлопотно и весело, о худой избе не хотелось и думать. Старший сын Дениска начал работать в мастерской подручным слесаря. Дочь училась в ШКМ, и колхоз взял на себя содержание ее и

еще четырех подростков — детей колхозников. Когда ребята сходились домой, они спорили, ссорились, мирились, читали вслух. В избе появились книги, плакаты, новые слова.

— Все равно, как у попа в прежнее время, — шутил Душа и горделиво оглядывался на жену. — А ты говоришь — изба! Дорога не изба, а что в избе.

Начиналась первая колхозная весна. Кормов было мало. Колхоз надеялся на помощь сверху, гнал в район бумажки, бумажки читались, путешествовали где-то, а на конюшне лошади объедали пелены, валялись на отпотевшем снегу, оставляя клочья сваленной зимней шерсти. Часто собирались бригады пахарей. На всякие разговоры о кормах пахари отвечали уклончиво: «Наше дело за плугом ходить, больше мы ничего не знаем».

Душа чувствовал, что при таком настроении дело может кончиться провалом. Вот тогда-то заликуют враги колхоза! Нужно было что-то предпринимать. Для начала он настоял на подвозке со спиртного завода барды. А когда с крыш свисли первые сосули, он организовал конюхов и обошел с ними избы всех колхозников. В каждом доме он проводил целый митинг. Его длинные речи сводились к одному: «Посеем в нынешнем году, будем сыты. Без справных лошадей далеко не ускачешь. Давайте, кто что может».

Не из одной избы его норовили выпереть без разговоров.

— Ума хватило лошадей в кучу собрать, так сами и о кормах заботьтесь. Теперь агитировать нечего.



Но Душа был настойчив. Чем напористее были хозяева, тем плотнее он усаживался на лавку и, не обращая внимания на брань, продолжал свое:

— Лошадь, она бессловесная скотина, а ты человек, у тебя соображение есть. Может ли отощавшая скотина плуг волочить?

Его необидчивость и какая-то добродушная убедительность действовали. Брань истощалась, хозяева начинали спокойно говорить о деле, и редкий колхозник не соглашался в конце концов «подкинуть» кое-что из остатков. Свое согласие они выражали с великодушной напускной злобой и взглядывали на Душу дружелюбно и поощрительно.

Корма начали прибывать: вязанки яровой соломы, плетушки овса, лукошки овсяных остатков и даже мешки кормовой свеклы. Душа принимал всех с неистощимым радушием, и каждый, уходя из конюшни, чувствовал себя так, словно от его дара зависело будущее колхоза. Душа стал героем. Все называли его Иваном Гуреичем, прежнее имя вдруг показалось всем обидным и неподходящим для этого распорядительного заведующего конюшней.

Собранные корма Иван Гуреич распределял по кормушкам буквально пригоршнями. Сильные лошади продолжали довольствоваться соломой с горячей бардой, а слабые получали овес и сено. За март лошади выровнялись, и, выводя их из конюшни на запашку, Иван Гуреич ликовал.

В тот самый день, когда завершили посев проса, кузнечихина изба, в которой жил Иван Гуреич, отказалась служить. То ли куры подрыли завалень, или подгнили подпорки, только

изба вдруг со стоном наклонилась вперед, окна выпятило и крыша съехала набок.

По вечеру, когда народ, подивившись на благополучный исход катастрофы, разошелся, между Иваном Гуреичем и Дениской произошел спор. Дениска узнал, что правление колхоза решило премировать его за ударный ремонт плугов радиоприемником. Уже больше недели Дениска ходил, не чуя под собой ног. Он заблаговременно вырезал два шеста, обтесал и прикинул, как укрепить их; один на сарае, другой — около трубы над избой.

За ужином — ужинали они на широкой каменной плите перед избой — Иван Гуреич, звучно схлебнув с ложки, глянул на Дениску.

— Ежели тебе на самом деле будет премия, придется...

Дениска положил ложку на колени и поднял на отца посветлевший взгляд. Иван Гуреич опять принялся за похлебку.

— Чего глядишь? Придется эти трынды-бульнды отставить и просить избу.

Дениска привстал. Губы его дрогнули.

— Нет уж! Мне радио дороже избы.

— Да чорт! Куда радио-то пристраивать? Глянь!

— Пристрою. — Дениска оглянулся на повалившуюся избу. Брови его свела решимость. — Москву буду слушать, а изба что?

— Где слушать-то? На улице?

— Ну и на улице. А то и за границу...

Дениска не стал есть и скоро ушел. Поужинали молча.

И целых три дня отец с сыном не промолвили друг с другом ни слова. Их разногласия пе-

редались остальным ребятам, у них образовались партии: кто за радио, а кто за избу. Говора было много, а жить негде. Иван Гуреич видел один выход: снять у кого-нибудь пустую избу. Но он медлил. Ему хотелось переспорить Дениску, испытать его характер.

17

Собрание по поводу окончания первой большевистской весны проходило торжественно. В Нардоме для всех колхозников приготовили ужин и чай. На сцене играли гармоника и три балалайки. После длинной речи представителя района председатель правления начал читать список премированных.

Иван Гуреич нашел глазами Дениску. Тот сидел в первом ряду. Его широкоскулое лицо сияло.

— Иван Гуреич Мишин! — выкрикнул председатель.

Иван Гуреич недоуменно оглянулся. Первая мысль была, что на конюшне случилось неладное и председатель напоминает ему об этом. Но его подтолкнули сзади: «Иди, раз выкликают!» Перед ним образовался проход до самой сцены.

Председатель, отнеся лист в сторону, глядел на Ивана Гуреича, поджидая.

— Я-то тут при чем? Это, вон, Дениска...

— Он своим чередом. Давай сюда, двигай!

И, снова взглянув на бумагу, председатель громко прочитал:

— За образцовую постановку конюшни и за

ударную работу по мобилизации кормов премиривать домом, бывшим Мячиных, на горе.

Иван Гуреич растерянно взялся за бороду. Кругом зашумели, трескуче захлопали в ладоши. Громче всех был голос Дениски:

— Вот там я волну поймаю!

Иван Гуреич, не зная, куда девать руки и плечи, почувствовал прилив острой злобы, и, для всех неожиданно, он показал Дениске кулак:

— Я тебе поймаю!

Он ушел из Нардома, отказавшись от угощения. У него было сознание большой и незаслуженной обиды. Он не верил, что домом Казачки его премировали всерьез. Ну, а если даже и всерьез, — разве он согласится поселиться в нем? Ни за что на свете! Этот дом был ему ненавистен.

Почти до петухов Иван Гуреич просидел над рекой. В воде плавали звезды, их качала рябая волна. На черных камнях переката голосисто кричали лягушки.

Тут нашла его Варвара. Она молча под села к нему. В глазах ее горела голубая звезда. Наконец Варвара сказала:

— Откажись от греха...

Она выразила то, о чем думал Иван Гуреич минуту тому назад. Но вместо того чтобы согласиться с женой, он ударил по колену:

— Нет, поселюсь, и вся недолга!

Варвара убеждала его, но с каждым ее словом Иван Гуреич делался настойчивее: пусть не думают, что он трус и боится возврата старого.

— Да ведь дом-то чужой. Возьмут нас за шиворот, и лети.

— Кто возьмет?

— Колхоз же.

— А я кто, не колхоз?

— Да ведь дом-то не твой?

— Дом колхозный. А пока я своими руками работаю, до тех пор...

Они ни до чего не договорились.

Наутро Иван Гуреич отбил от окон Казачкина дома гнилые доски. Дениска лазал с шестью по крыше.

1934—1935

---

## Чужой век

### 1

Дверь скрипела долго и с противным присвистом. От этого звука пустело в груди и ныли челюсти.

Когда выходил из избы сам Лука Григорьев — скрип сзади наводил его на мысль о том, что оставшиеся в избе смеются ему вслед, а если дверь закрывалась за спиной Гаврюшки, то ржавые петли, казалось, продолжали его торжествующий смешок.

Однажды Лука Григорьев снял дверь с крючьев и смазал ржавые петли керосином. Пока он работал, в избу набрался сковывающий мартовский холод. Ребятишки забрались на печь, а Павлина, молча следившая за работой мужа, укоризненно сказала:

— Что это ты вздумал? Ты бы еще все окна выставил?

Лука Григорьев вскинулся на жену и бешено выкрикнул:

— Отойди ты от меня... к дьяволовой матери!

Старуха смолчала. Лука Григорьев почувствовал, что Павлина права, но, чтобы не по-

казать свою слабость, проворчал без прежней злобы:

— Из дома, дьявол, выжила. Стонет, стонет!

— Тебе-то не все равно?

— Не всем равно, кое-кому и побольше требуется.

После смазки дверь перестала петь, но тоска не ушла.

И по мере того, как таяли погрязневшие снега и теплые ветры обдували верхи крыш, Лука Григорьев все отчетливее сознавал, что эта весна не похожа на прежние, она ломает вековую налаженность его жизни, и противиться тому у него нехватит сил.

Солнце звало на улицу. Покончив с уборкой скотины, Лука Григорьев принимался прочищать ручьи. Потом с лопатой за плечами он выходил за ворота и петистой зимней стезей шел до риги. Солнечный скат крыши был сух, и от него тянуло накопленным теплом, но на теневой стороне нетронуто лежал снег. И все же о близком тепле напоминали и облезшие огороды с протоками борозд, и дымившиеся кучи навоза. И сладки были мысли о черной густоте вешней пашни, о близкой пахоте, о сухих и текучих семенах. Лука Григорьев смыкал ресницы, и казалось ему, он уже слышал горячий запах первой борозды, лошадиного пота, а в ушах его вспыхивали и гасли вскрики по-солдатски шагающих грачей.

С огорода он шел тяжелым шагом. По давней привычке он заворачивал в сарайчик, где исстари стояли сохи, бороны, оглядывал углы: сарайчик был пуст, и на гладких колышках (еще покойный отец прилаживал) висели лишь

истлевшие веревочные концы да изъеденная мышами хомутѣна.

Когда старуха позвала его обедать, он сидел на пенке, на котором уж лет двадцать отбивал косы, и, подставив лицо солнцу, глядел на грачей, густо усевшихся на старой липе. В ночь грачи вернулись из теплых краев. Усталые, нахлывшиеся, грачи поводили умными головами и ворчали глухо, будто жаловались на тягость пути и делились мыслями о переменах, происшедших в родных местах. И Луке Григорьеву хотелось сказать грачам просто, как давним друзьям, что зима в самом деле прошла нескладно, и что будет дальше, он не знает и сам.

С тех пор, как расклеился семейный лад, обеда проходили в молчаньи. Не поднимая от ложки глаз, Лука Григорьев видел каждое движение Гаврюшки. Наедаясь, Гаврюшка чавкал, с присвистом высасывая из зубов застрявшие крошки. На этот раз Лука Григорьев не сдержался и еле выговорил отвердевшими губами:

— Свины, и те... едят степеннее...

Гаврюшка повернулся в его сторону и опять принялся есть. Луке Григорьеву показалось, что теперь Гаврюшка уж намеренно раскрывал рот шире и чавкал изо всей мочи. Он с силой надавил на ложку, переломил ее и повысил голос:

— Ты что же, отца дразнить?

И опять Гаврюшка спокойно повернулся к нему, усмехнулся и невозмутимо спросил:

— Тебе что, есть с нами не нравится? Так ты бы, мать, собирала ему отдельно,



Лука Григорьев растерянно вытер усы и, почти радуясь тому, что злоба получает выход, вызывающе отрезал:

— Меня-то отдельно сажать погоди! Понял? А сам хоть сейчас отделяйся, слова не скажу.

Гаврюшка смущенно выдавил:

— Кому-нибудь придется.

— И придется. Испугал дюже! Ты думай! Не то видали, будь покоен!

— Я и не пугаю никого.

Он отвернулся от отца, затаив раздражение в тугой связке желтых бровей. А Лука Григорьев, торжествуя победу, продолжал:

— Я, брат, не из робких. Меня колхозом не запугаешь... В колхозе тоже надо работать, а не одни речи говорить. А кто умеет работать, тому нигде не страшно.

И то, что Гаврюшка не принял вызова, заговорил о чем-то с женой, было особенно обидно. Лука Григорьев, не закончив обеда, вышел из-за стола и сразу начал одеваться.

В сѐнную дверь со двора стучала рогами корова. В ее трудных вздохах было столько спокойствия, что недавняя вспышка показалась Луке Григорьеву лишеной всякого смысла. Он распахнул дверь и со всего размаха ударил корову кулаком по лбу.

— Ишь, чорт, оголодала! Ку-уды лезешь, глаза-то вылупила! Гостья!

Корова глянула на него большим водянистым глазом, мотнула головой и повернулась, тяжело заноса зад.

Кулак заныл, но злость не была растрочена.

Лука Григорьев окаменело стоял на порожке, накапливая решимость. До него доносились от-

голоски избяного говора. Казалось, будто Гаврюшка в чем-то оправдывался перед матерью. «Нагрубят, а потом каются». Вот, слышно, Гаврюшка хохотнул и вышел в сени. Лука Григорьев приготовился обернуться на зов сына, но тот не заметил его, ушел через крыльцо на улицу, стукнув дверью так, словно отрекался от отца.

«Ах, мордастый враг!»

Схваченные предвечерним морозцем крыши все ленивее роняли капель; трепыхал крыльями, собирая кур, петух, и сиротливо кричали бродившие по раскинутой сторнóвке и давившиеся кóлосом овцы.

Решимость пришла не сразу. Лука Григорьев тряхнул головой и сдвинулся с места.

## 2

На улице было безлюдно. У изб, по мокрому снегу, перебегали подбористые куры и гнездились на пригретых завалинках. Над потемневшими полями торопливо бежали тонкие, совсем белые облака. «За дождями бегут»,—подумал Лука Григорьев и сейчас же взялся за шапку: «А тебя куда родимец несет?» И то, о чем складно подумалось на порожке сеней, вдруг показалось нелепым. Если б он находился не среди улицы, он, не раздумывая, повернул бы обратно, но показать свою слабость перед соседями (думалось, что всем уже ведомо его намерение и изо всех окон следят за ним) было стыдно.

Стороной, обтаявшими боровками, придержи-

ваясь за теплые колышки плетней, Лука Григорьев миновал церковную площадь и свернул в переулочек, заваленный железно-черными кучами сырого навоза. Глянув в пролет переулка, Лука Григорьев увидел вдруг голову своего мерина. Выгибая щею и шлепая волосатой губой, мерин хватал высокую, обкусанную пелену. Дергать солому ему мешала шустрая соловая кобыленка. Мерин отмахивался от нее хвостом, прижимал назад уши и скалил зубы. Кобыленка отбегала. Но как только морда мерина достигала пелены, кобыленка снова кусала его за бок и плечом сталкивала с места.

— Ишь, какая ненавистная, стерва!— Лука Григорьев цыкнул на озорную кобыленку и потрепал мерина по морде шапкой.— Что, скучаешь? Ишь, губы-то развесил! Дурáшка...

Услышав знакомый голос, мерин потянулся губами к рукаву хозяина. Лука Григорьев оглядел лошадь со всех сторон, нашел, что мерин похудел, зимняя шерсть висела на нем клоками, а обрезанный по самую репицу хвост, казалось, испорчен был в насмешку над этой старой и серьезной лошадейю. «Скоро, черти, уши будут обрезать!»

Конюхи играли в карты. На лавках, на полу сторожки лежала перебитая солома, какая-то овчинная одежда, и дух в избе стоял нехороший, пресыщенный запахом табачного отстоя и кислой капусты. «Как в волостном клоповнике»,— подумал Лука Григорьев и снял шапку.

— Ну, здорово, молодцы, живете!

На приветствие ему никто не ответил. Конюхи, молодые ребята, играли с таким усердием и так хлопали картами по столу, словно

проигрывали целые состояния. Самый большой из конюхов, белобрысый бобыль Степка Васютин, видимо, сильно проиграл. Он недружелюбно глянул на нежданного гостя и вдруг гаркнул на своего соседа:

— Ты не жуль! А то в зубы! Бью на всю. Лука Григорьев тонко усмехнулся:

— Окреп у тебя голосок-то. В дьякона бы с такой глоткой...

— Тебя тут еще не видали? Говори, чего надо!— Степка прижал к груди карты и выпрямился, заслонив оконный свет.

Лука Григорьев спокойно и строго спросил:

— Кто у вас тут за старшего? Я лошадь свою беру.

— Какую лошадь?— озадаченно раскрыл глаза Степка.

— Слепую! Свою, какую же еще.

Ребята побросали на стол карты. Степка засунул свои карты в карман и выбрался из-за стола.

— Старший я, а прав раздавать колхозных лошадей у меня нет. Без записки не получишь.

Лука Григорьев сказал тверже:

— Мне за записками волочиться некогда. Своей лошадью я завсегда могу распорядиться. А не дадите, я у вас и спрашиваться не стану!

И он решительно шагнул к двери.

Степка сразу сделался хмур и распорядителен. Одного из конюхов он послал в правление колхоза, а Луку Григорьева заставил подписать расписку в том, что «собственную лошадь, буланого мерина, он получил в целости и исправности». Когда все формальности были закончены, Лука Григорьев, не дожидаясь возвра-

щения посыльного с разрешением, вышел на двор. Надевая узду на буланого, он опасливо озирался на прясло в сторону переулка, ему чудился голос Гаврюшки, чьи-то шаги, и, чтоб успокоить себя, он степенно говорил ожидавшему Степке:

— В вашей пелене сласти немного. В общем котле и лошади, брат ты мой, не сладко. А в своей колоде моя лошадь сама себе полный бурмистр.

Он разыскал в ворохе сбруи свой хомут, седелку и дугу. Обряжая мерина, он с недовольством отметил, что сбруя была смята, унавожена, шлея местах в трех разорвалась, а на дугу и глядеть не хотелось—до того ее за зиму ободрали. Наконец он вывел мерина на улицу, вскочил ему на спину, закинул ногу и с места погнал рысью.

Встретила Луку Григорьева старуха. Она стояла за двором, прислонившись к верее и поджав под фартук руки. Подъехав к воротам, Лука Григорьев мешком свалился с лошади и еле устоял на затекших ногах. Старуха перехватила его вопрошающий взгляд и раздумчиво сказала:

— Ах, мужик, мужик!

— Чего — мужик? Думаешь, испугаюсь?

Старуха посмотрела ему в глаза и сказала тише и протяжнее:

— Скандал-то какой! На все село... И сына...

— Чего, сына? — Лука Григорьев пустил лошадь во двор и громыхнул дугой о полотнище ворот.— А сын подумал об отце, спросился? То-то! Жисть-то мою ломать у него смелости хватило? Но у меня тоже не свернешься!

И, угадывая мысли старухи, он пожалел ее. — А тебе и голову ломать нечего. Еще неизвестно, кто заплачет наперед — он или я.

3

Тридцать пять лет Лука Григорьев держал в руках дом и хозяйство. Дом был в селе старинный, кондовой, слывший достатком и хорошими работниками. Отец, передавая Луке Григорьеву главенство в доме, говорил, истово взглядывая на старинную божницу:

— Дом этот наши отцы зубами сколачивали. Сроду ни за чем в люди не ходили. Помни это, Лукашка! Не рушь корень. Родная кровь из земли проклянет, ежели с пути собьешься...

Лука Григорьев пошел в свой род. Вернувшись из солдат, он отстранил старика от дел, предоставив ему полную свободу ходить на сходки и в церковь. Заботы скоро потушили румянец на его щеках и замкнули рот тугими раздумьями. Он не помнил ни одной ночи, когда он спал вдоволь, не было ни одного дня, проведенного им за праздным разговором. Зато сколько радости было у него, когда домовитые в селе хозяева ломали перед ним шапку, ставили его в пример нерадивым сынам и при встречах с открытой лестью говорили о достатке в его доме, о справной скотине, о хороших, во-время посеянных хлебах.

Померли старики. Начали подрастать дети: два сына и дочь.

Японская война разладила было хозяйство. Но Лука Григорьев отделался счастливо: в

Сибирь он не попал, пропутался только с год в губернском городе. В его отсутствие Павлина убавила посева, прожила телку зато ребята без него вытянулись, выглядели подростками. «Чорт с ней и с телушкой,— решил Лука Григорьев,— а с такими ребятами мы теперь гору своротим!»

Сыноья радовали его отцовское сердце — были горячи в работе, не отговорчивы на посыл и не падки до ребячьих забав. Особенно хорош был старший, Иван, высокий — в материну породу, голубоглазый и ловкий. Рядом с ним младший, Гаврюшка, выглядел увальнем.

— Совсем малый ничего,— говорил Лука Григорьев Павлине,— чуть бы ему только порасторопней быть и рот не держать нараспашку.

— Выбьется,— успокаивала мужа Павлина, тая свое недоеольство меньшим сыном, не отличавшимся лаской и приветливостью.

И так уж сложилось: Иван готовился родителями занять место отца, на него возлагались все надежды, а младший был в стороне, держался в семье особняком. И оттого ли или по другой какой причине, Гаврюшка рано привязался к книжкам, завел дружбу с учителем, а на семнадцатом году неожиданно сказал отцу:

— Отпусти меня, батя, на сторону, в Москву. Авось, дома вдвоем управитесь.

Лука Григорьев сначала опешил, в руках у него появился зуд и желание привести малого в ум, но тотчас же мысли приняли другой оборот: в доме полная управка, лишняя копейка со стороны не повредит. И неожиданно для Павлины он миролюбиво сказал:

— Что ж, поезжай. Но помни одно: чуть что, на глаза не показывайся!

Было это перед самой мировой войной, когда Луке Григорьеву начинало казаться, что дом его приближается к достатку, и сам он достиг той высоты человеческого века, сорока пяти лет, когда голову затягивает паутина мудрости, а тело еще молодо и полно сил. В этом году он наметил покупку двух душ земли, подпаивал для этого безродного бобыля, тратил копейку в надежде вернуть ее рублями. На осень была назначена и свадьба старшего сына (брали из хорошего дома, с приданым и с десятиной земли). Слагалось все очень складно и даже не помнилось о Гаврюшке, от которого не было ни денег, ни письма.

Но так всегда бывает: ты—на гору, а чорт—тебя под гору. Грянула война. У Луки Григорьева взяли двух лошадей. А к осени Иван шагал где-то на юге в серой массе солдат, распевая деревянным голосом: «канареечка жалобно поет».

И, наконец, последовал самый тяжелый удар: Ивана убили на Карпатских горах.

Лука Григорьев за два дня поседел, стал тих.

— Блаже б меня уходили вместо Ваньки,— говорил он старухе.— Ах, малый, малый! Весь мой упор в нем был. Хороших берет бог, а...

Он не упоминал имени Гаврюшки, хотя оно и вертелось на языке: была еще в опустошенном сердце надежда встать на ноги и опереться на второго сына.

За всю войну Гаврюшка прислал всего два письма. В одном он извещал о том, что его



призвали в армию, а во втором делился радостью по поводу появления у него первого сына.

— Спасибо, сынок,— со слезовой укоризной сказала Павлина, прослушав второе письмо.— Женился без нашего согласия, а детей рожать и вовсе спрашиваться нечего.

Лука Григорьев смолчал.

Домой Гаврюшка приехал в самую развалоху, когда деревенские старухи начали ждать конца света. «Хлеб на вес есть стали, самое время архангелу в трубу трубить». Он приез с собой жену, двоих детей и три корзинки.

В избу Гаврюшка вошел так, словно только вчера из нее вышел, с родителями заговорил во весь голос. Так же смело держалась и жена его, Настасья, красивая белокурая баба.

Жизнь скоро наладилась. Сноха-московка работала весело и споро, Гаврюшка, пообтершийся на стороне, выглядел расторопнее. Луке Григорьеву полегчало. У него опять зароились в голове планы, и в веселую минуту он довольно гладил бороду:

— Мы еще постоим. Кто работать не любит, тому, верно, приходит крышка, а мы от работы не бежим.

Он мало обращал внимания на то, что Гаврюшка часто ходил в совет, зимние вечера целиком проводил в читальне,— его это не касалось, главное, сын не делал ущерба работе, был послушен, не пил и берег домашнюю копейку. И успокоенному сердцу Луки Григорьева рисовалась в будущем счастливая старость—почетная, величаявая старость хозяина.

По осени они с Гаврюшкой разбили новый

сад. Дедовский стал посыхать, и яблоко с него было мелкое, изъеденное паршей. Прививки брали в совхозовском питомнике. Лука Григорьев выбирал исключительно озимые сорта («Яровые ребятишки обобьют раньше времени!»). Сад раздвинули до самой риги, и в дальнем углу, где тесной семейкой стояли молодые липки, Лука Григорьев облюбовал место для пасеки. «Не пасека выйдет, а прямо скит, от грехов спастись».

Яблони сажали под вечер. За рдяными шапками липок горел закат. Небо было бирюзово-синее и от него тянуло холодом. Голоса отдавались четко, и смех Настасьи, помогавшей мужу засыпать ямы, звучал хрустально. После работы необычайно сладостен был ужин. Ели поджаристую картошку с твердыми, последнего сбора, малосольными огурчиками.

Лука Григорьев всегда любил предзимье, когда дом, набитый запасами, сыто кряхтел утепленными дверями, пропитывался запахом капустных листьев и свежей нахолодавшей соломой, принесенной на ночь в избу. В это время хорошо по вечеру вить веревку и слышать при этом веселый гул бабьих прялок, хруст на зубах у детей капустных кочерыжек,— тогда, казалось, не нужен весь белый свет, и ветер за стеной только подчеркивает теплоту береженого гнезда.

Так было и в этот вечер. Старуха разбирала у печурки вóлну, Гаврюшка выстругивал сыну ящичек для карандашей, а Настасья чинила какое-то тряпье и вполголоса напевала:

Позарастали стежки-дорожки...

Голос ее был полон тоски о прошлом, которое скрылось и никогда не повторится.

Разглядывая под лампой свое мастерство, Гаврюшка тыльной стороной ладони смахивал со лба волосы и подпевал жене:

Где проходили милого ножки...

4

От мирских дел Лука Григорьев всегда сторонился, и революция не приучила его ходить на собрания.

— Прокалганишь там полдня, а толку ни сколько. Все равно возьмут, сколько полагается, за сиденье не почтут.

И он очень был доволен, когда сын взял на себя все мирские обязанности.

Стороной он слышал, что Гаврюшка дружит с коммунистами и пользуется в селе почетом.

С собраний Гаврюшка приносил слухи о пятилетке, о колхозах, он пробовал убеждать жену и мать в том, что по-старому жить нельзя и пора ломать дедовскую деревню.

Лука Григорьев чувствовал, что Гаврюшка обращается к матери и жене для отвода глаз, что речи эти направлены в его сторону.

— Кому надо, пусть тот и ломает отцовскую, дедовскую, какую угодно, — говорил он, не обращаясь прямо к сыну. — Нам пока и в дедовской хорошо. Кусок изо рта не валится.

— Да ведь за всеми и нам придется итти! — Гаврюшка настороженно взглядывал на отца.

Лука Григорьев невозмутимо чесал подмышкой.

— Ну, мы, пожалуй, и за всеми не дюже пойдем. Эти разговоры хороши для собраний. Соберутся, надо же о чем-нибудь языком молоть. А для жизни это не годится.

Гаврюшка поджимал губы и как-то по-особенному, будто решившись на что-то, откидывал со лба прямые елосы.

Один раз Лука Григорьев высказал свою мысль длиннее:

— Был у нас один такой, — ты его не помнишь, — Борис Долбушкин. Во-о какой здоровяк был, головой в потолок упирал, пузень, как у брюхатой бабы. Жрал он, что хорошая корова. Так этот самый Долбушкин каждый год какую-нибудь новость выкидывал. То сарай на другое место передвинет, то дверь в избе прорубит с другого бока. А крыльцо у него прямо летало с одного места на другое. Потом доломал вотделку, без крыльца жил. Все он новые фокусы придумывал, а в дому все равно ничего не прибавлялось. Не понимал он того, что от перестанову в доме прибыли не будет, только рукам работа, а голове туман. То же и у вас получается. Кому есть нечего, вот он и придумывает на разные манеры и навертывает, а еды все не прибавляется. Как меру ржи не пересыпай, хоть горстями, хоть наперстком или сразу гребком, — все будет мера. Понял? И мое соображение такое, что надо наперед заставить всех работать, а тогда уж колхозы придумывать.

Гаврюшка выслушал его, склонив побуревшее лицо. Настасья перекидывала взгляд с мужа на свекра и, чувствуя слабость Гаврюшки, вступила в беседу. Она заговорила горячо, и с каж-

дым словом щеки ее рдели, становились почти бордовыми.

— Да уж, конечно, так больше нельзя оставаться. За эти семь лет я на вашу деревню нагяделась. Отнеси лихая болезнь от вашей сытости! Сколько грязи! А работа! Ведь это каторга живая! Потом какой же тут порядок, когда один ест в три горла, а другой в кулак дует?

Лука Григорьев довольно разгладил бороду. Наскоки снохи, хорошевшей в споре, его тешили.

— Так, так, так. Про то же и я. И грязи много, и работы с остатком. А кто силу забрал, у того и работы немного, и в избе чистота. Вот и выходит то ж на то ж: работать надо, а не колхозы придумывать.

После этого Гаврюшка речей о колхозе не заводил. Только в его манере держаться с отцом появилось что-то новое, и это новое было не по душе Луке Григорьеву. Сын начал говорить с ним недомолвками, с усмешечкой и все время переглядывался с женой. Он стал подсмеиваться над скупостью отца, над сундучком, в котором Лука Григорьев держал деньги и хозяйственные документы.

Один раз Лука Григорьев не стерпел и, оторвавшись от сундучка, в котором искал квитанции на сельхозналог, спросил строго, еле сдерживая дрожащие пальцы:

— Чему ты оскалешься, скажи на милость? Весело, иди на улицу, там и гогочи. Я тебе не насмешный. Понял?

Гаврюшка неловко повернулся на каблуках и, смущенно хохотнув, вышел из избы.

По перевозимку сельский исполнитель Ярыга, — большой, до глаз заросший серым, жестким волосом мужик, — ходил по избам и, стуча в окно осиновою клюшкой, громко кричал:

— Слышится? На собрание! Кто не придет — штраф!

Лука Григорьев вопросительно посмотрел на старуху.

Он ждал, что Павлина посоветует ему не ходить, но та заботливо сказала:

— Зовут, сходи. А то набормочут там на тебя, тогда расхлебывайся...

К началу собрания Лука Григорьев опоздал. Через головы баб он увидел кожаный верх шапки, темные брови и упрямый взгляд серых, водянисто-волглых глаз приехавшего из города докладчика.

— Об чем речь-то тут? — спросил Лука Григорьев стоявшую перед ним бабу.

Та, обернувшись, скороговоркой ответила:

— А чума его разберет! Кого-то кулачить, в колхоз всех упрашивает. Да ты слухай сам, авось, не оглох!

— Вот пьявка! — пробурчал Лука Григорьев и подставил ухо в сторону докладчика. Слушал он внимательно, но понял мало.

И вдруг заговорил Гаврюшка.

Лука Григорьев в первый раз слушал речь сына, в нем появилась робость: а вдруг Гаврюшка сорвется! В волнении он опустил глаза и изо всех сил сжал в карманах кулаки.

— Нам всем ясно, товарищи, — говорил Гаврюшка, — ясно, что теперь перед нами один

путь. Надо строить колхозную деревню. Только через общий труд мы придем к социализму, только сообща мы сможем жизнь свою сделать культурной и социалистической. Ведь нельзя же того терпеть, что у одних закрома ломаются, а другим кусать нечего. Нельзя! А без колхоза бедноте никогда не получить вольного хлеба и просторной жизни. Вот о чем мы говорим и чего добиваемся...

Когда Гаерюшка закончил, Лука Григорьев облегченно вздохнул. Пожалуй, в эту минуту ему неважен был смысл слов Гаврюшки, — главное было то, что он ни разу не запнулся и не вызвал смеха окружающих.

Не сдерживая своего довольства, Лука Григорьев глянул в лицо рябого Климки, стоявшего рядом:

— Вот, брат, как языки-то наострили! Кроют, как по-печатному.

Климка вдруг сдвинул на затылок шапку и злобно крикнул:

— Им, сукиным детям, припечатать, как следует! Иль языки повырвать!

Лука Григорьев попятился и растерянно протянул:

— Уж больно ты зёл, Климка!

— А зёл, так отвяжись! Хочешь, чтобы я сына твоего послушал? Очень мне нужно!

Лука Григорьев не успел ответить Климке. Среди мужиков началось передвижение. Те, кто был посамостоятельней, отошли в сторонку, за ними потянулись бабы, а люди победнее и погорластее еще теснее придвинулись к столу.

Лука Григорьев хотел было тоже податься к сторонке, но в нем еще не погасло доволь-

ство речью сына, он ждал от него еще какого-нибудь проявления ума и догадливости, потому удержался на месте.

Гаврюшка, увидев отца, встал с ним рядом.

Приезжий докладчик начал говорить опять. Он сказал:

— Чтоб не терять времени, товарищи, давайте запишем тех, кто желает войти в колхоз. Лишние разговоры — лишнее время. Согласны? Тогда начинаем!

Он взялся за карандаш и пытливо посмотрел в лицо Луке Григорьеву.

«Вот теперь самое время податься от греха назад», — подумал Лука Григорьев и отставил одну ногу. Но в эту минуту Гаврюшка выкинул вперед руку:

— Ну, мы почнем. Пишите! Панфилов!

Лука Григорьев только теперь понял, в чем дело, и оборванно спросил:

— Это как же так?

Гаврюшка оглянулся на него. Лука Григорьев потупился, закричал и почувствовал себя разбитым, как после недельной молотбы. Не поднимая глаз, он протискался сквозь тесноту армяков, полушубков и прямо пошел домой.

Первая уступка сыну не прошла даром. С того дня почувствовал Лука Григорьев за плечами шесть прожитых десятков лет, понял, что сын вступает в свои права молодого хозяина, а его записывает в старики. И этот поворот на стариковское положение был настолько неожиданным, что Лука Григорьев не сказал ничего Гаврюшке ни после собрания, ни тогда, когда тот через несколько дней отвел на колхозный двор лошадь, потом вывез из дома



плуг, бороны и всю сбрую. Один только раз Гаврюшка, как бы опасаясь вмешательства отца, сказал предостерегающе, ни к кому не обращаясь:

— Ломаем до конца! Теперь ни с чем считаться не будем. А разные которые, хотя бы и старики, чуть что, для них Нарыма хватит.

Поняв намек, Лука Григорьев с напускным безразличием ответил:

— Валяйте, валяйте, раз ваша взяла. Сколь надолго только.

— Навсегда!

— Ну, дай бог час.

Зима прошла тускло. В селе творилась кутерьма. Десятка два домов наибольших богатеев в прежнее время разорили дотла, а самих хозяев — с женами, детьми и стариками — отправили неизвестно куда.

Гаврюшка совсем не жил дома. Лука Григорьев целыми днями сидел на лавке у печки и с большой неохотой выходил за дверь. Раньше зимние дни были для него полны дел. Он чинил хомуты, плел плетушки, готовил к лету лапти. Да и в доме всегда находились изъяны: прибить гвоздь, укрепить подпорку. Но теперь вдруг все дела прекратились. Задать овцам корма, нарезать корове резки — много ли это для зимнего дня?

Перед масленицей Лука Григорьев совсем помутнел. У него появился кашель, пропал сон. Зима была не люта, в феврале побурели верхушки леса, и к вечеру у порогов натаивали навозные лужицы.

Обрубая у подвала порог, Лука Григорьев часто делал передышки и взглядывал в небо: в

синеве его появилась робкая предвесенняя ясность, и облака, освещенные низким солнцем, были пухлы и легки. И вот эта лебединая легкость облаков будто толкнула его в грудь. Вся жизнь вдруг встала перед глазами: летние зори, полевые ночи с томительным тюрлюканьем сонных перепелок, праздники, троицкие гулянки. Он вдруг почувствовал себя попрежнему молодым, сильным, голосистым.

— Нет, видно, побаловались — и будет!

Он торопливо откидал от порога ледяные осколки и твердой поступью прошел к крыльцу.

Вечером он мылся в жаркой баньке и говорил простоволосой, исходившей потом старухе:

— Пора эту грязь с себя сшвырнуть. Горло переело. Верно я говорю, иль нет?

Павлина соглашалась с ним:

— Так-то оно так, только отощал ты очень. Кости-то прямо считай...

— От такой жизни все пересчитаешь.

Вымывшись, они, легкие, будто снявшие с себя пудовую тяжесть, шли садовой дорожкой. Над ними узкой полоской висело вызвездившееся небо, снег под ногами сахарно похрустывал, и в голову Луке Григорьеву забредали веселые мысли.

С того дня Лука Григорьев начал молчаливую войну с сыном. Тот скоро понял это и возобновил свои насмешечки, делая вид, что пересмеивается с женой.

Опять начались разговоры о колхозе. Гаврюшка длинно толковал о том, что колхоз не только принесет всем сытость, но и в корне перестроит всю жизнь, люди сменят курные

избы на светлые помещения, будут иметь чистое белье, постель, и дети будут воспитываться по-человечески.

— К примеру, вот нас воспитывали. Толчком, криком. В училище ходили со скандалом. Чуть подросли, запрягли в работу. А разве так можно?

Лука Григорьев тяжело взглядывал на сына и с ледяным спокойствием отвечал:

— Вот за то, что тебя плохо выхаживали, ты отца по шее, мать по морде.

Гаврюшка обиженно вскидывался:

— Чего молоть зря? Тебе о деле, а ты...

— И я о деле. Нам об емназиях-то некогда было думать, надо было сперва жрать приготовить. А то без тебя-то не знаем мы, что хорошо, что плохо.

— А теперь и сыты будут все, и дети по культурной дороге пойдут.

— Уж пошли! Гляди, как зашагали!

— И уж пошли! — вступила в разговор Настасья. — Вон уж и ясли, и детские комнаты отстраиваются. А когда это в деревне было? Ну!

— Поглядим, поглядим, все увидим.

Вот тогда-то и стал Луке Григорьеву заметен скрип двери.

## 6

Гаврюшка пришел домой по-темну, когда мерин был уж водворен в конюшню.

По тому, как Настасья посмотрела навстречу мужу, Лука Григорьев понял, что баба упомянула все, о чем говорили в избе старики, и пе-

редаст мужу со всеми подробностями. Но он не придал тому большого значения и спокойно кивнул старухе:

— Собери-ка пожевать чего-нибудь.

Ели молча. Гаврюшка то и дело клал на стол ложку, проводил по лбу ладонью и взглядывал на задернутое морозными лапами окно. Молча поели, молча и спать легли. «Нечего сказать, вот и примолк», — решил Лука Григорьев. Всю ночь ему снились хомуты, карты и лошадиный жесткий хвост. Потом он будто стоял на высоком помосте и укорял Гаврюшку, казавшегося сверху очень маленьким.

— Мое! — кричал он. — Понял? Мое! И я всему хозяин! Тебе хочется меня ото всего отшить, но еще рано! Ты не имеешь...

Он не мог подыскать подходящего слова, чтоб окончательно убедить сына, да и говорить было очень трудно: в рот лезла жесткая щетина, она колола губы, он отсовывал ее, но она лгнула опять.

Проснулся он неожиданно и увидел, что во сне он сполз с подушки и в рот ему набилась солома.

— А сгори ты на ясном огне!

Он поглядел на окна: было уж позднее утро. Паблина передвигала на припечке тяжелые чугуны и звенела заслонкой. По избе легко двигалась Настасья.

Недовольный тем, что проспал, Лука Григорьев сердито сбросил на пол просохшие в печурке валенки.

— Встал? — высунулась из чулана Павлина. — Что это ты нынче долго тянулся? Я уж будить собиралась.

Он не ответил ей. Поплескав в лицо водой, в которой плавали звонкие ледяшки, вышел в сени.

Старуха вышла за ним следом.

— Увел уж! — шепнула она, озираясь на избушку дверь.

У Луки Григорьева отнялись ноги.

— Успел?

— До светочка встал. Глянула я в окно, а он уж сел верхом и погнал.

— Верно, мамаша! Что, сплетничаешь?

Они окаменело стояли на месте и не смели поднять глаз на сына, который, улыбаясь, смотрел на них. Лука Григорьев чувствовал себя так, будто его поймали с краденым. Наконец Гаерюшка прошел мимо матери в сени.

Днем в избу неожиданно вошли чужие люди: председатель колхоза Грунюшкин и молодой незнакомый парень в черной кожаной фуражке с висящими наушниками. Лука Григорьев со сдержанным радушием подал гостям руку и пригласил сесть. Гости закурили, и незнакомый парень заговорил, переглядываясь с Гаврюшкой, прислонившимся спиной к печке:

— Ну, как же, папаша, буянишь?

— Как это буянишь?

Лука Григорьев тяжело взглянул на гостя, но тот выдержал взгляд и усмехнулся.

— Как же не буянишь, когда не хочешь в колхоз входить и лошадку желаешь домой взять? Это что же получается?

— Да, так делать — модель плохая. Все общественное настроение ломаешь, — подтвердил Грунюшкин и похлопал ладонью по картонной папке, поставленной на колени.

— Это что же, суд мне или как? — Лука Григорьев поднялся с лавки и испытующе оглядел гостей.

Грунюшкин смущенно разгладил коротко подстриженные усы.

— Какой там суд? Очень уж громко...

А молодой парень вдруг сдернул с головы шапку и хлопнул ею по столу.

— Дядя, не валяй дурочку! Понял? Сиротой не притворяйся! Мы с тобой по душам говорим, как с человеком, так и ты на нас не кау́рься. А то ведь у нас другой напев в запасе.

— Ну, так и запевайте! — Лука Григорьев опять сел на лавку и закинул ногу на ногу. — Я своим добром всегда могу распорядиться. Мне никто не указ.

— Жестоко ошибаешься, отец! — Молодой парень вдруг придвинулся к Луке Григорьеву и положил ему на колено большую и теплую руку. — Мы не для скандала (зашли к тебе. Рассказал нам сын твой про этот спектакль с лошадью, мы и решили навестить тебя, завести дружбу.

— Это просим милости. Мы от знакомства непрочь и хороших людей никогда не обездóливали.

— Вот! И мы точно так же! А теперь слушай!

Парень говорил толково, и речь его была приятна. И сам он — широкий, складный, с упрямо посаженной светлой головой, голубоглазый и упитанный — был приятен и будто давно знаком. Лука Григорьев подивовался, до чего молодой народ стал разговорчив и смел. Он отходчиво глянул на сына, жевавшего задумчи-

вую усмешку, и понял, что с лошадыю он, пожалуй, в самом деле поступил необдуманно.

И по словам приятного парня выходило так же.

— Не спорь, не противься, отец. И сыну не мешай строить свою жизнь, как он хочет.

— Чужой век заедать нечего!— неожиданно жестко сказала Настасья.

«Куда иголка, туда и нитка», — неприязненно подумал Лука Григорьев. Слова Настасьи перебили поднявшееся в нем теплое чувство, запривившееся наружу.

Неведомо с чего у него зачесались глаза, и тугая сязка перехватила горло. Он тяжело привстал с лавки.

— Это...— и махнул рукой.— Это жизнь моя ломается на части... Вот что!— И обернулся к молодому парню.— Не знаю, как величать тебя... Миколай Миколаич? Так вот, свет ты мой Миколай Миколаич, ты мне золотое слово сказал. И за то спасибо. Чужой век мне заедать не с руки. Я отступлюсь. Только мне это — во!

Он черкнул по горлу ребром ладони и, как был, без шапки, в накинутом на плечи полушубке, вышел в сени.

С обеда пал туман. Он ложился на обтаявшие крыши сараев тяжелыми клубами, и было похоже, что солома тлеет и вот-вот из князька пробьется пламя. Воздух стал густ, и крики пехуров были глухи и печальны. Только невидимые воды звенели певуче и радостно.

Садовая дорожка осела, налилась чистой водой. Молодые прививки покрылись потом, около них совсем обтаяло, и на бурой зелени прош-

логодней травы, как шарики из папиросного табака, лежали заячьи следы.

Лука Григорьев вошел в ригу и сел на покосившуюся соломорезку. Подумалось: «Надо бы починить ножки, поточить косу, да зачем теперь?» В остатках овсяной соломы возились и вспискивали мыши. И это родило хозяйскую мысль: «Перетряхнуть надо, выбросить мышинные гнезда, а то эта пакость до того измочит соломому, что и овцы есть не будут. Да стоит ли?»

И вдруг Луке Григорьеву отчетливо вспомнилось, как вот в этой самой риге он в голубое весеннее утро наваливал в телегу семена. Пегий мерин не стоял на месте, кусал конец оглобли, а он, Лука, с напускной строгостью окрикивал мерина, довольный, что у него такая справная и нетерпеливая лошадь. Роса была густа, апрельский холодок зябко вязал щеки. Мешки были тяжелы, но если бы они были тяжелее вдвое, и тогда он легко носил бы их, чтоб показать свою силу отцу, стоявшему в воротах и следившему за его работой. Вот на этом месте стоял тогда отец. Серый, согнутый, без шапки и в просторных валенках; синие портки болтались на сухих коленках; сквозь полушубок выпирали острые лопатки. Отец кряхтел и взглядывал на него большими, мутными глазами, и ему тогда казалось, что отец готов заплакать. То была первая весна, когда отец не вышел в поле рассеять. Старик остался дома по настойчивому совету сына и никак не мог примириться с мыслью, что первая пашня будет посеяна без него.

— А то, может, и я съезжу? А, малый?

— Куда тебе уж? Без тебя управлюсь. Ло-



шади тут лучше замеси без меня да погляди за всем.

И старик все грустнее взглядывал на него, в глазах его появилась неведомая робость. Он ходил вокруг лошади, одергивал шлею, оглядывал колеса, трогал за чем-то борону. Это вмешательство старика тогда раздражало.

Как сейчас помнится, отец протрусил вслед за телегой до угла риги и тут остановился, схватившись за грудь. «А ты на лошадь-то позёвывай! Слышишь? Она ленивая, идол!»—«Или я не знаю?»—крикнул он тогда в ответ. Пока он ехал огородом, отец все стоял за углом риги, взмахивал рукой, кричал что-то, и легкий ветерок трепал на его голове серые вихры. Тогда не хотелось думать над тем, что без него будет делать старик, чем заполнит пустоту длинного вешнего дня, но теперь отчетливо представилось: понурившись, еле передвигая ноги, он вернулся в ригу, сел, наверное, вот так же, на соломорезку, обнял ладонями серую голову и начал скучно думать о том, что жизнь его кончилась, что его место заступают другие, а ему остается доживать век.

«Ах, батюшки мои, как нехорошо все творится!»

Лука Григорьев покрутил головой, но образ отца не исчез, стал даже явственнее. Если б вернуть назад эти тридцать пять лет! Бросил бы он пегого мерина, телегу, возвратился бы в ригу, обнял бы сухие колени скучающего отца...

В горле затеснило, и сами собой дернулись углы губ.

«Есть в доме старик — убил бы, а нет —

купил бы», — вспомнилась старинная пословица, и с ней как-то трудно увязывалась мысль о том, что он теперь сам на положении старика. Лука Григорьев поглядел на свои большие разработанные кисти рук, покрытые шрамами и толстыми пятаками несходящих мозолей. Пальцы со сшибленными ногтями были толсты и уродливы. Узловатый переплет вен, похожих на концы толстой бечевы, был мертвенно лилов, напоминал отцовские руки, скрещенные на груди сверх погребального покрова. Но почему же мысленно он еще молод, будто вчера еще ходил с отцом по этой риге, разглядывал ее углы после трехлетней солдатчины? Тогда он вертко оборачивался на каблуках, сдвигал на затылок фуражку: его радовало и то, что в доме все идет чередом, и что отец, захмелевший, слегка болтливый, докладывал ему обо всем, как вернувшемуся в дом хозяину. На выходе из ворот он тогда споткнулся о подворотню, ловко подпрыгнул, а отец, поддержав его за локоть, ласково сказал: «Такому bravому падать не годится».

В четырехугольник ворот виден мокрый, будто затянутый в голубую кисею, сад. По току, покрытому жидким снегом, щеголевато ходили грачи и, блестя черными бусинками глаз, на каждом шагу тукали под ноги носами, недовольно вскидывали вверх головы и, будто жалуясь кому-то на голод, коротко кричали.

— Ну, видно, думай, не думай, а с решетом по воду не пойдешь, — вслух сказал Лука Григорьев и вышел из ворот, вспугнув грачей. Шел он ко двору медленно и сам чувствовал, что походка у него стариковская.

Для постороннего человека всякая вещь в доме имеет цену только в том случае, если в ней есть надобность. Но когда эти вещи сделаны своими руками, то в них заложена вся прожитая жизнь, и потерять какую-либо вещь так же тяжело, как разувериться в преданном друге.

Лука Григорьев почувствовал это впервые, когда увидел, как сын начал распоряжаться домашними вещами. После того он долго думал над тем, почему сын получает права на вещи отца, почему сыну дано право отнимать у отца последнюю утеху — воспоминание о прожитом, горькую печаль об ушедшем?

Все прошлое, вся жизнь связана с тысячью перебивавших в руках и уцелевших вещей. Смерть отца всегда приходила на ум при взгляде на сбитую, с выветрившимися петухами дугу, что купил он в городе, когда ездил за покупками для похорон. Рождение Ваньки связано с сундучком, в который он положил тогда миткаль и ситец, купленный на «зубок» первому сыну. И разве не вещи, не обилие их и добротность давали ему радость, уверенность и гордость перед соседями? И чем вызывался почет, слава хорошего хозяина, разве не ладной запряжкой, когда он проезжал по селу в новой телеге на сытой лошади, сиявшей медными бляхами и потряхивающей голубой с желтыми цветами дугой?

Чем теперь отметить ему свои дни, раз надо всем домом начал хозяйничать сын и раз он всю домашность готов сдать колхозу?

Гаврюшка приходил домой поздно, наспех ел и тотчас же ложился спать. Только один раз, было это под страстную субботу, он вышел после ужина на крыльцо и, закуривая, сказал в сторону Луки Григорьева, сидевшего в уголке на скамейке:

— Через день думаем начать сев.

Он сказал это так, будто хотел знать мнение отца. Лука Григорьев ничем не выказал своего тайного довольства («Хорошо, хоть умных людей спрашивают!»), скупно ответил:

— Теперь самое время. За день-два поле за милую душу продует.

Гаврюшка переступил с ноги на ногу и тем же тоном сказал:

— Насилу справились. То с плугами, то со сбруей возились. Это наладили, теперь с народом крутежка. С непривычки все толкутся, а без смысла.

На это Лука Григорьев не знал, что ответить. Он намеренно не интересовался делами колхоза, потому что не верил в успех этой затеи, раз смешали в одну кучу и хороших работников и записных лодырей.

— Что ж, получается: рак, лебедь и щука?

— Не щука!— Гаврюшка раскурил цыгарку, осветив себе усы и кончик носа.

«Похудел, с пустым делом-то связавшись»,— отметил Лука Григорьев и зябко поежился.

— Не щука!— опять сказал Гаврюшка, и в голосе его послышалось раздражение.— Все думают, что в колхозе и работать не надо. В начальники все лезут. А скажешь какому чудаку поперек, он называет тебя поджулачником и паразитом.

Лука Григорьев сочувственно потрянул головой.

— С народом, известно, колготы не оберешься. Побьетесь, побьетесь — и придется бросить.

— Бросить? — Гаврюшка повернулся к нему и скороговоркой выпалил: — Вот это ты зря. Теперь уж не бросим. Раз взялись, то не оторвемся, а оторвемся, так уж с мясом.

В поле колхозники тронулись артелями по восемь плугов в каждой. Пахари выехали перед завтраком и часто останавливались: неспаренные лошади кусались и шарахались от кнута, путая построжки.

Лука Григорьев, стоя за ригой, следил за проходившими по переулку пахарями, и у него было желание выйти на дорогу и крикнуть:

«Дьяволы! Хороший хозяин давно б напался! Что вы идете, как поденщики!»

В раздражении он отвертывался, глядел на полевой взгорок, по которому шли сеялки. Его непреодолимо потянуло на пашню, захотелось пройти лехи две с тяжелой севалкой, проложить в творожисто-рыхлой земле широкие следы и, разгоряченному, со сладкой мутью в глазах, возвратиться к телеге за зерном.

Весь день Лука Григорьев провел в риге, раскидал по току мокрый навоз, осмотрел каждый прививок, а из головы все не уходила мысль о том, что сейчас люди пашут, потом будут у телег закусывать черствым хлебом с молоком или с куском ветчины, а над их головами будет сочный хруст лошадей, склонившихся к тележному ящику.

И вечером, когда пришел почерневший за

один день Гаврюшка, Лука Григорьев не утерпел, сказал со сдержанной насмешкой:

— Коли всегда так будете работать, немного хлебушка получит ваш колхоз. Встал в обеде, лег в полднях... Куры смеются.

Гаврюшка долго молчал, отвернувшись к окну, и Лука Григорьев видел, как у него побурели шея и уши.

Старуха перекинула тревожный взгляд с мужа на сына и укоризненно качнула головой:

— Э-эх, язвня! Помолчать не можешь.

Наконец Гаврюшка устало ответил:

— И мы знаем, что так не годится. Но критиковать сейчас все охотники, а помочь делу нет никого. — Он поглядел на отца большими, волглыми глазами. — Ты знаешь, как надо лучше? Так иди, налаживай.

— Я? — Лука Григорьев дрожащими пальцами провел по бороде. — Мне отставку дали. Сам же старался в старики перевести.

— Старался? — голос Гаврюшки стал глух и тепел. — Ни о чем я не старался. Чтоб не мешал ты, я этого хотел, да. А сейчас нам не важно — старик или молодой. Знаешь дело — так иди и работай.

Лука Григорьев потряхнул на плечи сползший полушубок.

— Годков бы десять скостить. Я б вашим пахарям показал!

## 8

Поле, как всегда, манило плетучей вязью дорог, нежным изломом горизонта и густой чернотой глыбистых пашен. Но на этот раз Лука

Григорьев находил в знакомых очертаниях поля нечто другое, будто неожиданно увидел помолодевшее лицо близкого человека.

Такую же перемену он чувствовал и в самом себе: не было у него прежней завистливо-замкнутой складки губ, взгляда исподлобья на чужие пашни и на труд соседей, выехавших раньше его в поле.

Он сидел на возу с семенами, под ним была чужая телега, он правил незнакомой куцой, с рыжими вихрами, лошадь. В первую минуту ему было неприятно, он показался себе похожим на работника, получившего хозяйскую снасть, но шум движения большой артели, голоса пахарей, ехавших верхом вслед за телегой, разогнали неприятные мысли. Мелькнули крыша его избы, угол риги. Как недавно стоял он, вон у тех липок, и неприязненно думал о людях, лениво тянувшихся этой дорогой на невеселый труд!

Со вчерашнего дня, когда его вызвали в правление колхоза, ему казалось, прошла целая вечность, потому что за это время он успел поругаться с полеводом, высидел длинное заседание производственной комиссии, осматривал оснастку лошадей, семена, объехал с Грунюшкиным почти весь яровой клин.

«Человекам десяти уж враг лютый стал, и за такое малое время!» Лука Григорьев раздумчиво улыбался и косил глазом на пахарей, четко вырисовывавшихся на золотистом небе. Разгуливая сон, они переговаривались все громче и шли за телегой почти в упор.

Многое из того, что произошло за последний год, не понимал Лука Григорьев. Оттого часто

терялся и чувствовал себя дураком. Растерялся он и вчера, когда прибежал к нему посыльный от Грунюшкина.

Проводив посыльного, Лука Григорьев долго силился угадать — с добром этот посыл иль с худом.

Павлина, почуявшая волнение старика, опасно взглянула на него и промолвила:

— Да сходи. Авось, не съест он тебя.

— Меня?— Лука Григорьев глянул на старуху так, будто перед ним стоял сам Грунюшкин.— Ну, это у них кишка слаба, чтоб меня съесть! Подавятся.

— Ну, вот и иди.

— А то думаешь, побоюсь?

Но этот прилив решительности здорово убавился с выходом на улицу. «Враг их знает, что на уме-то у них!»

Когда он поднимался на ступеньки крыльца поповского дома, ему казалось, что все видят, как он, домовитый, самостоятельный мужик, не устоял на своем слове, сдался и сам переступил ненавистный порог. Ссутулившись, пролез он в дверь и чувствовал, как от стыда у него потеплели кончики ушей.

Грунюшкин встретил его равнодушным взглядом. Он только что кончил ругать трех парней, накануне поломавших плуги и проболтавшихся в поле без дела полдня. Ругань, видимо, утомила и Грунюшкина, и незадачливых пахарей.

— Черти! За прогуленных полдня вам отцы шею б отмотали. Да еще за струмент по затылку б прибавили. А тут вас не бьют, вы и норовите есе броском, через колено! Ну, сту-



пайте! Только помните, дураков и в церкви бьют.

Когда ребята ушли, Грунюшкин пододвинул к себе пустой стул и указал на него Луке Григорьеву.

— Сядь. Дело есть. Говорить много не будем. Понял?

— Чего ж разговаривать? — осторожно ответил Лука Григорьев и приспустился на краешек стула. («Сажает, умасливает, демон клокастый, а после долбанет чем-нибудь. Неужели Гаврюшка чего-нибудь наговорил?»)

— Ну, вот. — Грунюшкин погладил ладонью лежавшую перед ним бумагу. — Слушай и не перебивай. Тебя мы знаем как хорошего хозяина. Нам такие сейчас позарез нужны. Чтоб других подтянули и сами б не прозевали. Если таких мы не подберем, то всю кампанию прогрячим. Понял? А если мы первый блин сварнакаем комом, то какая же это будет показательная агитация для других? Вот мы и решили привлечь тебя и кое-кого еще из старших к работе. Прикрепим к тебе артель, ты и ворочай, с тебя и спрос будет. Старшим назначим тебя, главарем!

— Меня?

— Тебя, а кого же? — Грунюшкин поглядел ему в лицо усталыми серыми глазами и утомленно улыбнулся. — Валяй, валяй! Знаю, скажешь, из годов вышел, с молодыми трудно справиться. Но мы, вот, работаем и со старыми и с молодыми. Согласен? — Он протянул Луке Григорьеву широкую ладонь и улыбнулся шире. — Вот и отлично. А старый конь борозды не портит. Час добрый!

Он тогда не нашелся ответить Грунюшкину. И теперь еще было неловко за свою недогадливость. В смущении он тронул ежжами лошадь, вскинул голову и крикнул, обернувшись назад:

— Пошевеливайте, ребята!

Дорога упала в промывину. Лошадь, не послушавшись вожжей, с самого верха тронула рысью и легко вынесла грязную телегу на изволок. «Мягкая лошадь и с головой», — одобрительно подумал Лука Григорьев и сейчас же вспомнил, как он отрекся от своего тяжелозадого и норовистого мерина.

Они ходили по колхозному двору: Грунюшкин, Гаврюшка и секретарь ячейки — тот самый Николай Николаевич, который «исповедывал» его за проделку с лошадью. Лука Григорьев держался рядом с Грунюшкиным, хозяйственно обсуждал все колхозные порядки.

Грунюшкин вдруг обернулся к нему и плутовато подморгнул левым глазом:

— Небось, на своей лошади думаешь работать? А?

Лука Григорьев потупился. Эта минута была тяжела, ибо приходилось раскаиваться в былой глупости, отречься от того, во что верил и за что держался всю жизнь.

Его выручили веселая хлопотливость прожитого дня и доверие, высказанное ему этими хорошими и простыми людьми. Он глянул в лицо Грунюшкину и сурово выговорил:

— Это, пожалуй, будет лишнее. Теперь все лошади свои. А наговоры могут быть большие.

Николай Николаевич молча переглянулся с Грунюшкиным и хлопнул Луку Григорьева по плечу.

— Верно, бригадир! Начинаешь понимать политграмоту.

И весь остаток дня Лука Григорьев таил в себе теплые искорки довольства от этой похвалы и чувствовал, что эти слова Николая Николаевича для него дороже мерина, сбруи, дороже всего береженого отцовского дома.

День был долог, как бесконечная чернота рыхлой борозды.

Идя за плугом, Лука Григорьев чувствовал за спиной косые взгляды пахарей. Они ничего не говорили ему, но он догадывался о том, что без него они не так скоро закончили бы завтрак, не понукали бы лошадей и на поворотах чаще бы закуривали, собираясь в кучку. И сейчас они не делали остановок единственно потому, что не хотели отставать от него из ребячьего самохвальства.

«Я вас проманежу!» — Лука Григорьев ухмылялся и все пошевеливал лошадей.

Под мерный скрип плужка и отфыркивание лошадей ему думалось легко и просто — о себе, о людях, о земле, и в этих думах он улавливал кончики какой-то необычайно важной мысли. Вот он пашет. К вечеру его артель должна завершить посев всего клина в двенадцать гектаров. Вечером он забежит в правление и доложит о работах Грунюшкину. Да... Ага! Вот это самое! Раньше предстоящая работа рисовалась ему рядом пашен, по которым он должен пройти. Вид обработанных полос с мётлой на углу — вот желанный результат всех его усилий. Сейчас же по-другому: его работа — это не пашни, не пройденные плугом борозды, это — право смело смотреть в глаза

Груньюшкину, право возвысить голос на нерадивого работника, право сознавать, что он нужен людям, колхозу, нужен в той жизни, которую зачинает эта артельная, веселая весна!

Домой Лука Григорьев вернулся в поздних сумерках.

Прежде чем подняться на крыльцо, он заглянул в освещенное окно. Домашние ужинали. Старуха стояла у стола и лила из кринки в миску молоко. Гаврюшка вдруг поднял на мать глаза и отстранил ее руку:

— Ну, нам хватит. Отцу оставь. Он, небось, за день-то находился...

Лука Григорьев твердо шагнул на ступеньку: дом встречал его попрежнему открытый, и в нем для него приготовлено почетное место.

1931

---

## Дорога в город

### I

Когда заходила речь о смерти, Никита Романович Юрасов, растягивая слова, спокойно говорил:

— Кто как хочет, а я скоро помирать не собираюсь. Годиков сто все надо потопать.

— Да ведь тебя не спросят, — отвечали ему. — Придет такая точка, — любой богатырь подастся.

Никита Романович привставал и развешивал плечи:

— Ну, не зря же на меня потрачено столько материала. Да и самая сейчас жизнь пошла на-шему брату, про смерть и думать не хочется.

Никита Романович был один из тех редкостно сохранившихся стариков, которые всегда давали пищу народным толкам о том, что «в старину люди были не чета нынешним, что народ мельчает на глазах и мрёт не доживя века». Он поражал своим ростом и какой-то складностью, которая необычна для крупных людей. Лицо у него было широкое, с мягким носом и чуть выдающимися скулами. Серебристая боро-

да и усы не скрывали его пухлых, хорошо очерченных губ. Зиму и лето он ходил в длинной, серого полусукна, поддевке, в непогоду надевал сверх нее суконный армяк и подпоясывал его лошадьей гүтой.

О силе Никиты Романовича ходила слава, но сам он был о себе невысокого мнения:

— Какая в нас сила! Одна хвальба. Вот в Ельце я раз встретил соколá одного, — вот это сила! По старому времени, ловили его городовые: набедил он где-то. Городовых было человек шесть, а может, и больше. Виснут они на нем, а он только плечами поводит. Тряхнет — они летят от него, как мухи. Потом вижу — надело ему швырять их, он и крикнул мне: «Попридержи-ка их, голубка!» Пока городовые кружились около меня, сокол этот прыгнул через стенку в чей-то сад, да стенку-то на городовых и привалил. Вот это, можно сказать, сила!

— А тебе-то там не попало? — спрашивали любопытные.

— Зачем мне попало? — неохотно отвечал Никита Романович. — Я был там по своему делу и с городовыми путаться мне было не с руки. Побросал я их под обрыв над Ельчиком и садами ушел своей дорогой.

— И много их было, городских-то?

— Много ли, мало — все мои, — прекращал разговор Никита Романович.

В селе давно вымерли его ровесники, переводились и помоложе люди, но Никита Романович не сдавался. Каждое утро шел он с двумя «конными» ведрами к колодцу, легко выносил полные ведра на гору, и утренняя свежесть вызывала на его скулах густой румянец.

— Видно, ему и еправду износа не будет! — говорили колхозники.— Ведь подумать надо! На этой горе любой молодец задохнется, а ему хоть бы что!

И когда прошел слух, что Никита Романович захворал, многие в селе не хотели этому верить.

Случилось это перед самым покосом.

Никита Романович был в городе, куда его послал председатель колхоза для завершения спора с соседним «Красным путиловцем» о Горелых ложкáх. В земельном отделе Никита Романович провел целый день, крупно поспорил с землеустроителем, дошел до самого председателя районного исполкома. Дело решилось в пользу Никиты Романовича. Усталый и довольный результатами своих хлопот, он зашел в столовую Дома колхозника и заказал себе чаю.

В столовой толкался праздный люд, шопотом ругались, щетинясь друг на друга, двое каких-то калек. От стойки, за которой стояла белолицая, вялая женщина, соблазнительно пахло поджаренным в масле луком. Никита Романович догадался, что соблазнительный запах шел от большого блюда, на котором горой лежали жареные пескaри. Ему очень захотелось попробовать этой рыбы, но жалко было тратить на малую порцию целый рубль. Он вынул из мешочка горбушку домашнего пирога и приступил к чаепитию.

Удачный оборот дела, сознание своего превосходства над землеустроителем и, пожалуй главным образом, желание подавить в себе мысль о рыбе потянули Никиту Романовича на разговоры. Скоро к его столу подсело несколь-

ко любителей трактирных бесед, и он начал со всей обстоятельностью рассказывать им о Горелых ложках, о своем колхозе «Дружба», о строптивом землестроителе:

— Сует мне планы! А на что они мне? Тут и без плана видна твоя неправда. Нам без этого Займища, без Горелых ложек, прямо податься некуда. У «путиловцев» — подонье, разгул, заливные площади, а мы, что же, — у советской власти сироты? Нет, это не так! Я за землю от мира с помещиками судился, до сената доходил, постиг по земле все распротонкости, а он мне — план! Нет, говорю, ты мне ученостью своей голову не затемняй, знаем и мы, где она, ученость-то, живет. У меня у самого внук Игнат годов пять эту науку в самой Москве прошибает, скоро будет советской власти полный инженер. Вынул я, вот эдак, телеграмму. Читай, говорю. «Дедушка, еду домой, обрадовать тебя спешу. Экзамены прошли отлично и теперь я высокого класса инженер».

Никита Романович достал из-за пазухи завернутую в носовой платок телеграмму и расправил ее на столе. На синем листке торопливой рукой телеграфиста было написано только три слова: «Выеду восьмого Игнат». Но он, не смущаясь, читал и об экзаменах, и о своей радости, и о том, как он отпустил внука в Москву, приняв на себя все заботы о доме и о вдове-снохе.

Из города Никита Романович выехал под вечер. Гнедая кобыленка, которую колхоз отрядил для разъездов потому, что она была норовиста и не ладила в парной запряжке, бежала ходко. Привалившись к грядке телеги, Никита Романо-



вич сладко задремал и не видел, как отгорел закат и к жилью пролетели молчаливые стаи галок. Лошадь сама свернула с большака на проселок. Вдали, за глубокой впадиной сухой речки Перехвалки, уж завиднелись пестрые крыши гумен и скотников. Неожиданно из желтой стены подсолнухов под ноги лошади выскочила собака. Кобыленка всхрапнула, метнулась в сторону и перекинула ноги через оглоблю. Никита Романович больно стукнулся локтем о грядку и проснулся. Телега катилась по овсам. Лошадь била в передок задними копытами. Скоро она остановилась: вожжи намотались на ось и подтянули голову лошади к упрягу.

— Что, удавилась? — Никита Романович слез с телеги и немного ударил лошадь по крупу. — Ну, назад! Кому говорят, назад!

Он уперся в передок, и лошадь, увлекаемая упряжью, начала пятиться, тревожно шевеля острыми ушами. Когда вожжи размотались, Никита Романович перегнулся через оглоблю, чтобы распутать конец. Вспотевшая лошадь дрожала всем телом. Никита Романович отвел локтем жесткие концы хвоста и почти тотчас же в глазах его вспыхнули оранжевые, синие искры. Отшатнувшись назад, он с большим усилием устоял на ногах и тут только сообразил, что лошадь ударила его копытом по лбу. Он провел ладонью по волосам, и по руке его, до самого локтя, пролилась горячая струя.

Держась рукой за оглоблю, он добрался до дуги. Кобыленка косила на него злобно зеленевший глаз. Никита Романович поднял кулак и ударил ее между ушей. Кобыленка подпрыг-

нула, завертела головой и, с хряском переломив оглоблю, упала набок.

Никита Романович присел на конец оси. Лошадь долго отбивалась задними ногами, потом затихла. Он попробовал поднять ее ударом ноги, но она осталась неподвижной. С мыслью, что теперь придется отвечать за эту беспокойную тварь, Никита Романович распустил сунпоть, высвободил дугу и за хвост оттащил лошадь в сторону.

Поздно вечером на селе видели, как он вез на себе в гору пустую телегу. Низко склонив голову, он тяжело ступал коваными сапогами и не отвечал на вопросы встречных. Он докатил телегу до колхозного двора и, не отозвавшись на окрик ночного сторожа, отошел к сторонке и упал на траву.

Весь следующий день Никита Романович пролежал в санях, под сараем. Обвязав голову смоченным в недельном квасу полотенцем, он боролся с дремой, все порывался встать, чтоб отдать правлению отчет о своей поездке. Но при каждой попытке поднять голову тяжелая и тошная волна набегающего забытья валила его на сторону.

Вдова-сноха несколько раз приходила к нему, приносила то холодного молока, то свежих пышек-трёпанок, но он ото всего отмахивался:

— Обожди, Ганюшка. Никакая еда на ум не идет.

Агафья горестно поджимала ладонь к щеке, и в ее безвременно поблекших глазах светилось предчувствие большого горя.

Никита Романович смыкал веки и, сдерживая нетерпение, говорил:

— Чего поджимаешься? Ты еще завой, дурабаба.

Ночь он спал тревожно. Стоило ему смежить ресницы — и сейчас же откуда-то с треском появлялись разноцветные огни, голоеа становилась лишней и во всем теле рождалось странное томленье, словно его расчленяли на части. Он просыпался, ловил взглядом далекие звезды и успокаивался. Холодный свет неба освежал голову.

Утром Никита Романович встал, через силу поел картошки и собрался в больницу.

Председатель колхоза, которому он рассказал, наконец, о своей поездке и об оставленной в поле лошади, внимательно оглядел его припухшее лицо.

— Н-да... Угостила подходяще.

Это был темнолицый, тяжелый человек, с уродливо-толстой верхней губой, которую чуть-чуть прикрывали жесткие, выгоревшие усы. Он долго вертел папироску, видимо не зная, о чем еще нужно говорить, и все взглядывал на Никиту Романовича большими серыми глазами.

— А ты, дед, держись. Ты еще нам нужен.

— Подержусь, если земля подержит...

— Земля, она штука надежная. Сам только не качайся. — Председатель пустил носом сильную струю синего дыма. — А в больницу возьми лошадь. Человека с тобой нарядим.

Никита Романович опять вспомнил о злощастной кобыленке и с тревогой посмотрел в прозрачные, с четким зрачком, глаза председателя.

Тот уловил его тревогу, улыбнулся, отчего лицо его сразу стало светлее и пригляднее:

— Пришла кобыленка-то! Верное слово! Мы уж думали, что ее волки освежевали, а глядим — идет!

— Ну?— протянул Никита Романович и с сожалением посмотрел на свой кулак. «Неужели улетела моя сила, что даже паршивую скотину не одóлил?»— подумал он. И сейчас же, обозлившись на несуразные мысли, нахмурился и строго сказал:— Какая там лошадь? Пешком доволокусь. Итти пёше мне много способнее.

В больницу он пришел перед началом приема. По случаю базара больных было много, они тесно сидели на деревянных скрипучих диванах; на полу, у стен, лежали немощные; над ними вились большие назойливые мухи.

Запись вела молодая белокурая фельдшерица. На столе перед ней, рядом с чернильницей и стаканом, из которого торчали концы градусников, стоял большой стеклянный кувшин с цветами. От цветов веяло росой и садовой прохладой. Фельдшерица то и дело склонялась к цветам и всякий раз глаза ее после этого темнели и становились круглее.

«Чистая стрекоза в тростниках»,— подумал Никита Романович и на мгновение забыл про тяжесть в ногах и про непрестанную резь в надбровье. Фельдшерица была так молода и столько в ней чувствовалось неудержимой стремительности, что казалось, она случайно впорхнула в эту никлую комнату, полную тяжелых вздохов истомленных болезнями людей.

Фельдшерица оглядела его и начала спрашивать об имени, возрасте, о месте жительства. Он отвечал ей кратко и строго, как на суде:

— Юрасов, Никита Романов. Семьдесят девятый переступил. Из колхоза «Дружба».

— Вы в нашей больнице раньше бывали?

Никита Романович презрительно огляделся вокруг:

— Я, милый цвет, в своей жизни ни разу не лечился. Это меня кобыленка несчастная пристыгла, а то я думал, век сюда не попаду.

Потом фельдшерица усадила его на диван. Пока она прилаживала ему подмышку градусник, Никита Романович, не спуская глаз с ее щек, нежно закруглявшихся к шее, подернутых золотистым пушком, говорил:

— Не знаю, как люди лежат днем в постели, милый цвет. Вот какое мое здоровье. Видишь?— он раскрыл рот и ткнул пальцем в пустое место на нижней левой челюсти:— За весь век один зуб сронил только. Ага! И то по большой причине. Назад тому годов тридцать померла старуха у меня. Схоронил я ее, и с того дня начало у меня эту сторону поламывать. Дальше да больше. Поверишь ли,—сна лишился. Глушил я эту боль и нюхательным табаком, и настойкой на березовых почках,—ничего не повлияло. Хоть караул кричи. И вот зашли ко мне по весне коновалы. Я и попроси старшего поглядеть мои зубы. Взял он вот так угол фартука, завернул на палец и полез мне в рот. Покачал там несколько и подает мне зуб. Белый, с двухрожковым корнем. Коновал был, вроде меня, старый человек, догадался: «От какого это горя у тебя приключилась такая трата?» Как же, мол, не с горя, раз старуха померла? Взял я этот зуб, приставил к стенке и стукнул

по нему молотком. И что же? Как гвоздь, вошел он в дуб и даже не треснул.

Фельдшерица с покровительственной улыбкой смотрела ему в глаза. Потом, вспомнив о чем-то, она стремительно двинулась в глубь комнаты. Никита Романович сразу ослабел. «А ведь я, пожалуй, не встану», — подумал он и с силой ткнулся спиной об стенку.

Опомнился он уже в кабинете врача. Он лежал на низенькой кровати. Над ним высоко сиял белый потолок. Врач — молодой, тонколицый, с синими выбритыми щеками — стоял над ним, вертя в руках блестящую тонкую иглу. Он вполголоса разговаривал с кем-то, стоявшим за изголовьем Никиты Романовича:

— Ледок, кажется, подействовал. Ну, как, отец, жив?

Никита Романович растроганно посмотрел в лицо доктору и тихо сказал:

— Ничего, господин доктор. Мы переждемся, если механика в целости.

Доктор переглянулся с фельдшерицей, которая перешла от изголовья к столу:

— Механика пока цела. Только вот напрасно ты меня господином величаешь. Теперь это не в моде.

— Нам мода ни к чему, раз мы ценим вашу науку. У меня, вот, у самого внук окончил на инженера. Встречать вот надо, а я подломился.

Упоминание о внуке прошло незамеченным, но Никита Романович был твердо уверен, что доктор, узнав о высоком образовании Игната, будет лечить его со всем прилежанием.

Он спустил ноги с кровати.

— Теперь мне можно итти?

Доктор торопливо писал на клочке бумаги.

— По-настоящему, мы должны положить тебя, дед, в больницу, но у нас ни одного свободного места. Подождем денька два. За тобой будет наблюдать ваш сельский фельдшер. А пока я пропишу тебе порошки. Принимать по одному на ночь. Не забудь: по одному порошку перед тем, как ложиться спать.

В аптеке Никите Романовичу дали восемь порошков. Он положил их за подкладку шапки.

Пока он сидел в больнице, выпал небольшой дождь. Дороги стали черными, обмытый большак вспыхнул веселой зеленью, на нем глазасто загорелись желтые цветы.

За городом, огибая кладбище, пролегал овраг. Поднимаясь с моста, Никита Романович увидел шедших ему навстречу женщин. Их было три, и все три они были беременны. В руках у них качались полные ведра молока. Женщины осторожно ступали босыми ногами, словно боялись расплескать полноту заключенной в их теле жизни. Он дал им дорогу и долго смотрел вслед.

До Анниной лощины Никита Романович дошел с трудом. У ключика, бывшего из глинистого откоса, он присел и снял шапку. На колени ему выскользнули порошки. Он выбрал два и высыпал их на язык. Приложившись к озерку, он долго тянул в себя пахнущую мокрой собакой воду, пока не заурчало в животе. «Может, от головы отвалит маленько», — подумал он и, боясь сесть от выпитой воды на ноги, не отдыхая, пошел под гору.

К лекарствам Никита Романович относился с непреложной верой и рассуждал всегда так:

если от одного порошка может полегчать, то от двух и подавно. «Буду я с ними по-одному возиться! — подумал он, вспомнив наказ доктора. — Отболел сразу, да и к стороне».

За лощиной большак взбирался на отлогий подъем. Рядом с дорогой тянулся молодой березняк. Никита Романович свернул в сторону и вошел в лесную прохладу. Минутное облегчение он приписал действию порошков. Тревожили его только появившаяся сухота в горле, да в глазах почему-то все мелькали и мелькали темные птицы и застилали своими острыми крыльями свет ясного дня.

У прудика, за колхозом «Буревестник», Никита Романович принял еще два порошка («Будь, что будет!») и запил их желтоватой, густой, как квас, водой. На этот раз порошки не подействовали. Плохо различая дорогу, Никита Романович кое-как добрал до края большака и повалился под выжженной ветлой. Он лежал на левом боку, слышал гулкое биение сердца, и ему казалось, что от толчков сердца слегка сотрясается земля. Потом в голове звонко приударили веселые кузнечные молотки, перед глазами всплыло лицо сына Михаила — и все скрылось.

## 2

Погружаясь в забытие, Никита Романович успел с тоской подумать: «А Мишатка привиделся мне неспроста!»

Двадцать лет хранил он измятую открытку, на которой тюремный писец заливчатским по-



черком написал извещение «о смерти Михаила Никитина Юрасова от постигших его естественных причин».

Михаил был его вторым сыном. Он не занимал в семье большого места, братья не считались с ним, презирая его за простоватость. Михаил был к этому совершенно равнодушен. Но однажды, когда старший брат, Алешка, служивший в Москве рассыльным, вздумал покуражиться над Михаилом и стукнул его в спину кулаком, Никита Романович понял, что до сих пор не знал своего сына. Михаил вдруг почернел с лица, на лбу его градом выступил пот. Он взял Алешку за шиворот и так грохнул юб пол, что у того сразу оборвались цветные подтяжки. Младший, Семен, полез было на помощь брату, но Михаил легко отшвырнул его к двери и, поводя вокруг остекляневшими глазами, сипло выговорил:

— Говорить — говорите, а рукам воли не давайте! Я вам не подвластен.

Никита Романович уладил ссору, но с тех пор начал приглядываться к сыну. То, что Михаил легко управился с братьями, ему не понравилось. Алешка с Семеном работали в Москве, приезжали домой чисто одетыми, были речисты, и в селе с уважением говорили о их работе. Никита Романович гордился ими. И вдруг Мишка, который только и знал, что работал в поле, сбил им спесь, подмял под себя! Поэтому он был даже доволен, когда Михаила забрали в солдаты и назначили во флот, где служба длилась пять лет. Он хорошо собрал сына в службу, но большой печали при расставании не обнаружил.

Помогая Михаилу влезть в товарный вагон, Никита Романович сказал:

— Служи с прилежанием. Письма домой часто не гоняй и денег не проси. У меня не денежная фабрика.

Сын снял картуз и приложился к бороде отца деревянными губами:

— Сам знаю. Чего зря расписывать?

Отсутствие Михаила в семье почувствовалось в первую же весну, когда началась пахота. Никите Романовичу пришлось выезжать в поле самому, забросив все дела по дому.

Он впервые понял, что привычка к Михаилу сидела в нем очень глубоко и он не ощущал ее только потому, что сын никогда не отлучался от дома.

Время тянулось медленно, только маленькая Дашка, родившаяся за несколько недель до отъезда отца, напоминала о том, что годы все же идут и Михаил должен скоро окончить царскую службу.

Приезжавшие на праздники, на рабочую пору сыновья не раз обиняками заводили речь о дележке — они собирались взять с собой в Москву жен и ребятишек, — но Никита Романович не давал на раздел согласия:

— Вот вернется Мишка, тогда я вас и раскидаю. А без него палки из дома не выделю.

Теперь, глядя на своих «москвичей», хвастливых и суесловных, Никита Романович понял, что заработки их уж не так велики, гордиться ими не стоит, все чаще вспоминал сутуловатую фигуру Михаила, его широкое лицо с тихим взглядом больших серых глаз, — и тонкая жалость к обиженному сыну начинала точить серд-

це. Тогда он усаживал солдатку писать мужу письмо и вынимал из кошелья три, а то и пять рублей.

— Пропиши ему обо всем поскладнее и денег пошли. Небось, на табак нету.

Весть о японской войне еще пуще подогрела запоздалую любовь к сыну. Вскоре после манифеста Михаил прислал домой письмо. Он писал, что их корабль плывет в Японию, и прощался с женой, с дочерью, просил родительского, навеки нерушимого, благословения.

Больше от него вестей не было. И когда учитель под большим секретом рассказал мужикам о цусимском разгроме русского флота, Никита Романович два дня ходил сам не свой: у него не осталось никаких надежд снова увидеть сына.

Потом пошли слухи о близком замирении, в селе появились раненые солдаты, но война передвигалась с Дальнего Востока в глубь страны, стучалась в околицу. Почти каждую ночь во тьме вставали желтые отсветы дальних пожаров, ветер трепал обрывки набата то в той, то в другой стороне. Народ вовсе не спал, мужики сходились во тьме у крылец, курили, и разговоры возникали о страшном и неотвратимом — о страшном суде, об огненных столбах, появившихся, будто над Куликовым полем. Мужики жгли барские имения и открыто напустились на заповедные леса.

В школе по вечерам собирался народ. К учителю приезжали неизвестные заросшие волосом юноши в синих фуражках, девушки в темных монашеских платьях. Озираясь на темные окна, гости взволнованным шопотом говорили мужикам о воле, братстве, о святой борьбе с гне-

том царизма. Никита Романович слушал их внимательно, хотя речи ему казались смутными.

Потом прошел слух о Государственной думе, а тем временем в помещичьих усадьбах поставили отряды стражников и казаков. Лесные порубки мгновенно прекратились, и барские рубежи стали непереступаемы: казаки немилосердно пороли пастухов и табунщиков, узнавших дорогу на привольные барские выпасы...

Старший сын Никиты Романовича, Алешка, всю войну простоявший в Пензе, приехал домой и объявил отцу, что поступил в городскую команду стражников. В первую минуту Никита Романович не придавал этой вести большого значения: в доме было по-праздничному светло, Алексей, покручивая толстые усы, весело рассказывал о сытной жизни в команде, о строгом и справедливом исправнике, радовался хорошему жалованью. Речи его возбуждали у Никиты Романовича хозяйственные соображения: вот теперь можно будет пустить в зиму подтёлка, купить к весне хорошего третьяка, переложить амбар...

И только ночью, когда все в избе уснули, Никита Романович, всматриваясь в густую и влажную от дыхания многих людей тьму, вдруг увидел своего Алешку верхом на лошади — о звонкое стремя бьется плоская шашка, с губ лошади падает рыжая пена, и плетка в руках сына, извиваясь, опускается на головы спрудившихся мужиков...

У него перехватило дыханье. Торопясь, словно каждая минута промедления стоила жизни, Никита Романович спустился с печи, надел валенки и, запахнувшись в тулуп, вышел

наружу. Морозная свежесть, как крепкая по-нюшка, защипала в носу. Над четырехугольником двора простиралось высокое небо. Звезды были стрелчатые и яркие. На варкё трудно, словно подавленная необходимостью вечной жвачки, вздыхала корова; в конюшне глухо всхрапывал и потрясал поводом-цепью рыжий мерин, на котором приехал стражник.

И здесь, на холоде, мурашками покрывшем тело, Никита Романович почувствовал, что спокойствие этого двора, со вздохами скотины на варкё и звездной чистотой неба над ним,— кончилось.

Утром, когда над крышами только что встали столбы розово-серого дыма, Никита Романович вывел из конюшни чужую лошадь, заложил ее в козырьки и, войдя в избу, громко сказал:

— Эй, стражник царский! Можешь ехать к своему исправнику. Подвода готова!

Алешка, скобливший перед зеркалом мыльные щеки, глянул на него вывернутым глазом. Из чулана выглянула пылающая от печного жара старшая сноха. Встретив взгляд свекра, она вдруг села на порог чулана, закрыла лицо фартуком и заголосила высоко и резко.

Одновременно с Алешкой Никита Романович выдворил из дома и меньшого, Семена. Старикам, пришедшим в дом вместе со старостой, он сказал:

— Нет моей воли держать в дому этих сынов. Они ловки, пропитание себе и без дома заработают.

— А дом бережешь для кого же?

— У меня еще сын есть.

— Да вживе ли он?

— Этого я знать не могу. Жив — ему, а помер — вдове.

Это произошло перед святками.

А весной, когда ребяташки пообедались кле-новым цветом-кашкой, и на солнечных задвор-ках бабы мяли зеленоватый, как русалочки ко-сы, моченец, и около скворешен певуче ссори-лись скворцы, — к дому Никиты Романовича подъехала телега. Человек в матросской бес-козырке спрыгнул с телеги, взвалил на плечи голубой исцарапанный сундучок и прошел в сени.

Никита Романович, без шапки, в одной домо-тканой рубахе, стоял у вереи задних ворот и вил веревку.

Матрос поставил сундучок в пустых сенях и вышел на солнечный дворик. Увидев Никиту Романовича, он снял фуражку и шагнул в его сторону.

Никита Романович выронил прядку моченца и крепко взялся за недовитый конец веревки. Он не спускал глаз с заросшего светлым во-лосом, с синими полукружиями под глазами, лица гостя.

Матрос медленно провел по губам обшлагом бушлата:

— Ну, вот, папаша, и я...

У Никиты Романовича задрожали губы. Он готов был схватить дорогого гостя за плечи и, заглядывая в его усталые глаза, без конца рас-спрашивать. Но где-то вскрикнула Агафья, от-куда-то появились чужие женщины. Он протя-нул сыну руку и прикоснулся к его сухим и горячим губам.

Михаил застенчиво улыбнулся. К его груди трепетно припадала Агафья, шестилетняя Дашка держала отца за палец и все привставала на цыпочки, силясь заглянуть ему в лицо.

Поздней ночью Михаил пришел к отцу под сарай и присел на крыло саней. Подомашнему простой, смывший с себя в жаркой бане пыль дальних стран, Михаил свернул папироску и, отстранив руку с горящей спичкой, посмотрел отцу в глаза.

— Я должен сказать тебе кое-что...

Пока он раскуривал папиросу, Никита Романович тревожно подумал, что Михаил откроет ему нечто похожее на стражницкие восторги Алешки, и у него слегка сохлось во рту. Однако у него хватило спокойствия ответить сыну:

— Все одно. Рассказывай.

Неожиданно Михаил заговорил о своей службе на корабле, о чрезмерной взыскательности холодного и презрительного начальства, о бессмыслице войны, об измене генералов. Корабли, вахта, сигналы, палуба, камбуз — все это звучало для Никиты Романовича столь же туманно, как некогда прослушанная сказка про Еруслана Лазаревича. И он никак не мог себе представить, что этот человек в белой просторной рубашке — его сын — мог участвовать в тех далеких и увлекательных событиях, о которых уже рассказывала модная в народе песня про гибель «Варяга».

— Из плена нас семнадцать человек везли в арестантском вагоне, как зачинщиков восстания против царя и начальства. Но в Омске рабочие сняли наш конвой, и мы вышли на волю.

Только даром мне все это не пройдет. Паразиты помнят, кто им мешает кровь пить, и они сумеют нам отомстить. Теперь начнут искать, следовать. Если ты боишься, то я завтра же скроюсь. Говори прямо.

Он встал и отошел под пелену навеса. Слева его щедро осветила луна. Он вырисовывался на фоне неба тяжелый, будто вырубленный из светящегося камня. Никита Романович встал с постели и неизвестно для чего надел валенки.

— Приезжали к нам, — сказал он, шаря подмышкой, — хорошие люди, приносили нам благо, а мы это благо пинком отсунули..

— А ты? — резко, словно обожженный, повернулся к нему Михаил.

— Зажал в кулак до хорошего случая.

Михаил вздохнул облегченно. А Никита Романович, освобождая сыну место рядом с собой, строго сказал:

— Я, брат, не особенно пуглив. Сам же ты живи с оглядкой. Дуракам зря не кажись. Паспорт мы тебе загодя выправим, чтобы, чуть какая тревога, ты мог бы скрыться.

Михаил прожил дома до конца рабочей поры. Когда же урядник стал за их домом следить и поспрашивать мужиков «про бунтаря-матроса», Никита Романович сам снарядил сына и темной августовской ночью свез его на далекую степную станцию.

### 3

Никита Романович очнулся лежащим на спине. Над ним, плотно прилегая к земле, стлались сумерки. По небу тянулись багряные нити.



Высоко, почти задевая лиловое облачко, летели пращи. Никита Романович слышал тонкий свист птичьих крыльев.

Он встал, застегнулся на все крючки и вышел на дорогу.

По пути домой и дома Никита Романович чувствовал себя так, словно пережил большую потерю. Ему казалось, что в дороге он нашел в самом себе нечто новое, очень нужное, но выпустил это нужное из рук.

Он помнил весь путь от большака до леса, помнил, что на опушке ему попался седой, как лунь, лесник Сидор. Опершись на дробовое ружье, лесник сосал прокопченную трубку, и дым, похожий на косицы его бороды, тянулся бесконечной голубой лентой, опутывая весь лес.

Сидор посмотрел на него юркими черными глазами. Никита Романович решил пройти мимо Сидора молчком. Это было очень трудно. Поровнявшись с Сидором, он еле отодрал от земли обмякшие ноги. А когда оглянулся, на дороге никого уже не было. И Никита Романович вдруг вспомнил, что Сидор помер назад тому лет пятнадцать.

«Вот это и есть самое нужное. Смерть идет», — понял он и поднес к глазам большую и плотную кисть левой руки. Ему до слез жаль стало своих неизработанных до конца рук с толстыми и еще гибкими пальцами.

Вошедшая в горницу Агафья испуганно заморгала, но сейчас же смахнула блеснувшие слезинки и с неестественной суетливостью начала поправлять под ним подушку, приставила ближе к кровати табуретку, на которой звякнул о кринку чистый стакан.

Это до неловкости откровенное старание Агафьи скрыть от него слезы было самым верным подтверждением того, что смерть в самом деле близка и ее ничем не отворишь. Вот так же, с той же неслышной торопливостью, ходила около постели умиравшего отца его покойница-жена, и тогда голубела на столе чистая скатерть, нехватало только немощного света зеленой лампадки.

И снова рассматривал Никита Романович свои сильные ладони, и снова точило сердце томление по работе, которую будут выполнять за него другие люди, по тревогам и хлопотам, которые уж никогда не взволнуют его сердца.

В течение дня он несколько раз забывался. Пробудившись один раз, он увидел около кровати фельдшера. Крепко загорелый и молодой, фельдшер долго щупал его руку. Никита Романович все собирался спросить Агафью, — зачем его положили не под сараем и почему это к ним приходят посторонние люди, — но во всем теле разлилась такая слабость, что не повернулся язык.

После настала длинная полоса покоя. Этот покой шел от резинового мешка с хрустящим льдом. Никита Романович изредка приподнимал веки. Он видел склоненное лицо Агафьи. Придвинув к табуретке скамейку, она шила что-то из темной материи. Косой свет окна падал ей на лоб, на чуть приподнятые скулы. Лицо Агафья было чисто, и туго сжатые губы говорили о большом горе этой одинокой пятидесятилетней женщины.

Тридцать два года прожила Агафья под одной с ним крышей, и Никита Романович не

мог представить своей жизни без нее. Тридцать два года тому назад она была просто Ганькой, чужой девкой из хорошей, работающей семьи, и он сосватал ее для Михаила и привел в свой дом.

Никита Романович плотнее сомкнул веки, и перед ним возникла картина первых дней пребывания Агафьи в его семье.

Агафья была очень молода и трудно осваивалась под пытливыми взглядами опытных в ненависти и тонкой семейной политике снох. Утром как-то подмела Агафья избу и села к окну с шитьем. Бабы следили за каждым ее движением, готовые раславить на все село, что «молодая ни в дудочку, ни в сопелочку».

Тогда он подошел к Агафье и положил руку на ее шитье:

— Ты, Ганя, брось это дело. У нас сшитого хватит. Лучше сбрось, пойдешь, с сеновала просяной соломки.

У снох вытянулись лица. Агафья послушно вскочила, вскинув на него большие благодарные глаза.

С того дня она перестала дичиться, запросто вступала с ним в беседу. Он полюбил ее смех, бесхитростный взгляд, прямоту речей. Она никогда не подольщалась к нему, зато никто раньше нее не догадывался подать ему нужную вещь, помочь в работе, истопить для него баню.

Никита Романович передвинул на подушке голову и открыл глаза. Агафья отложила работу.

- Отлегло?
- Маленько есть.
- Может, поешь?

— Ёдой смерти не отведешь.

— Живой должен думать об жизни. А у тебя и лицо посветлело, и взгляд стал чище.

Она вкладывала в слова всю полноту надежды. Никита Романович не стал огорчать ее. Он поправил слежавшуюся бороду и спросил:

— Какое число нынче?

Агафья посмотрела на отрывной календарь:

— Седьмое. Завтра гость наш приедет. Ты, батюшка, крепись. Игнат тебе здоровье привезет.

Потом Агафья скрылась. Горницу пересекал желтый рукав света. В открытое окно вдруг влетел красноперый петух. Он перебрался по лавке к столу, склонил набок голову, посмотрел на Никиту Романовича, подмигнул и оставил на столе большую кучу.

«Ах, срамник проклятый! Ужо я тебя метелкойогрею!»

Никита Романович хотел было покликать Агафью, но петух снова перелетел на подоконник, долбнул раза два носом в стекло, заговорил с курами и спрыгнул на землю.

Опять появился фельдшер и долго щупал руку, глядя в сторону строгими глазами. За спиной фельдшера стояла Агафья. Она молча кусала губы. Сдержанная скорбь Агафьи заставила Никиту Романовича собрать силы. Он шевельнул руками и, неожиданно для самого себя, сел на постели и опустил ноги на пол.

— Ну, что ты на моей руке нащупал? Добро или худо? — спросил он фельдшера.

Тот нетерпеливо двинул плечом и туже сжал губы.

— Положение сложное, Никита Романович.

Мы с председателем сейчас только из города. Оба по поводу тебя в здравотделе скандалили. Дело обстоит так, что, если тебе срочно не сделают операцию, то...

— Так-так... — Никита Романович посмотрел на потные и беспокойные руки фельдшера. — Либо операция, либо смерть? Ты уж не скрывай. Я не маленький, все понимаю.

— Не совсем, может, так, но... Беда вся в том, что наш хирург за операцию не берется. У него инструментов нужных нет, и за себя он не ручается. Понимаешь?

Фельдшер отошел и заговорил с Агафьей:

— Плакать пока нечего. Опасности скрывать нельзя. Но мы пытаемся человека спасти. Если удастся удалить осколок кости, старик еще лет двадцать жить будет.

Никита Романович сделал вид, что ничего не слышал. Он попросил постелить ему под сараем, на вольном воздухе, и Агафья с фельдшером под руки перевели его туда.

День клонился к вечеру. Прогоном, вдоль садовых канав, прошла пестрая толпа, женщин. Неся на плечах грабли, они пели:

В незнакомом табуне  
Конь гулял на воле...

Они шли ворошить в лугах сено.

#### 4

«Говорят, сердце у человека не больше кулака, — как же в нем умещается вся наша жизнь?»

С этой мыслью Никита Романович раскрыл глаза.

Он лежал на своем месте под сараем. Двор был погружен в молочный туман. Над темной крышей избы чуть-чуть проступала зелень, как предвестница далекой зари. Петух орал под навесом и трепыхал крыльями так, словно падал с насеста.

Мысль о том, что день приезда Игната наступил, смягчила мучительную бесконечность минувшей ночи. Никита Романович не спал ни одной минуты. Короткие промежутки забытья полны были тягостно-трудной работы: то он нес на голове огромный воз сена, твердое дерево полка резало голову, сено терялось и засыпало глаза; то взбирался на крутую гору, повисал над пропастью, подсовывал пальцы под жесткие края каменных плит и, чувствуя близость падения в бездну, злился на свои мягкие и неимоверно длинные пальцы...

Но вот грач возвестил утро. Ему несмело ответил под застрехой воробей. Потом как-то сразу возникли десятки различных звуков, изда- лека прокатился крик петухов, небо стало голубым и высоким; под крышу сарая замахнуло крепкой свежестью утра.

Переулком прогромыхало несколько фур, и сонными голосами проговорили возчики. Никита Романович догадался, что подводы пошли за первым сеном. И сейчас же ему представился широкий суходол; в самом вершке протока расположился табор; над повозкой бригадира алеет отсыревший и неподвижный флаг; под телегами, вразброс, спят люди, около них остатки позднего ужина и спутники ночного веселья — гар-

монь, вытаращившая рыбы глаза немых ладов, балалайка...

Тонко вскрикивает на болотце одинокий кулик и фыркают ершистые от росы лошади.

«А-ах!»

Никита Романович поднял глаза вверх и увидел сбившихся у ворот соседок.

Поджав ладони к щекам, они смотрели на него и откровенно переговаривались:

— Плохой стал! Нынче же помрет.

— Гляди, разнесло как. И синий весь.

«О чем они говорят? Кто синий?»— подумал Никита Романович.

И сейчас же впал в забытие. Перед его взором возник синий плес вольной реки, по глади которого плыл одинокий гусь. О нем, об этом отбившемся от стада гусе, слаженно и грустно поют девичьи голоса:

А и что же ты, гусак, один во Дону?  
Что же, государь, ты один во пиру?

То не швеи ли девушки величают его, деда-вдовца, на свадьбе Игната, который сидит в красном посаде — мужественный и красивый?

И счастливый, Никита Романович выходит на середину избы, широким жестом отвертывает полу поддевки и запекает:

Со мной много гусей-лебедей,  
Только нет со мной гусыни моей.  
Гусыня моя в тростник заплыла,  
В тростник заплыла, гнездо совила,  
Гнездо совила, детей вывела.  
Только нет со мной подружки моей.  
Подружка моя во сырой земле,  
Постелюшку стелет, в сголовье кладет,  
В сголовье кладет, меня к себе ждет.

«Игнат!» — крикнул Никита Романович и очнулся. Он сидел на постели. Около ворот никого уже не было. Тень крыши отошла от середины двора и подбиралась под пелену.

И Никите Романовичу страшно стало своей постели. У него появилась мысль, что ослабел он от долгого лежания, и стоит ему встать, начать двигаться, работать, — тогда сразу минует его хворь, и пустыковая рана незаметно заживет.

С помощью рук он сдвинул ноги с постели и привстал. Первый шаг в сторону ворот вернул ему веру в свои силы. Опасаясь, что Агафья может помешать ему, он тихо выбрался за ворота и взял из приставленных к стенке кольев самый сухой и крепкий.

Проезжая дорога в город давала большой крюк в объезд речной долины, а пешая тропа, очень сокращавшая путь, вела напрямик, через Журавский лес.

Никита Романович не сомневался, что Игнат пойдет лесной тропинкой.

«Там, у Сухого дуба, я его и встречу», — подумал он, и сейчас же в его памяти возникли все слова, приготовленные для последнего разговора с внуком, для того разговора, ради которого он жил и без которого не мог умереть.

Он скажет Игнату то же, что сказал ему самому когда-то, еле двигая тронутыми земным пеплом губами, отец: «Живи честно, Игнат! Про деда твоего и про отца никто не сказал худого слова. За землю держись. Блюди род наш мужицкий. Для рода мы жили и страдали. От села не отбивайся, — тут наш корень».



Пусть Игнат стал ученым человеком, но и ему нужно помнить напутствие деда, чтобы не запутаться на чужой стороне и не забыть о верности родной земле. Иначе за что же погиб его отец, кому достанется нынешняя хорошая жизнь?

И вот скоро они встретятся, скоро он прикоснется к сильным плечам Игната, заглянет ему в глаза, наследнику, принявшему от него ветвь рода. Так умирали предки и так, держась за руку Игната, вытянется и начнет холодеть он сам.

Оступаясь и с трудом удерживая в руках кол, Никита Романович миновал огороды, поднялся на полевой курган и начал спуск к Перехвалке, за которой млеял густой и курчавый лес, Журавой.

Спуск под уклон был тяжел. Дорога выбежала из-под ног. Чтобы не упасть назад, Никита Романович выбрасывал руки в сторону и все ниже клонил голову. Ноги не отрывались от земли. С каждым шагом усталость все плотнее ложилась на плечи и давила меж лопаток.

Никита Романович ударял колом оземь и шептал, стиснув зубы:

— Одолеть хочешь? Но я тебе не поддамся!

С крутой горы, почти отвесно упавшей в проток, Никита Романович сполз на бок. У него от воротника до подола разорвалась рубаха, и в прогал выглянуло голое, с грязно-синей ссадиной тело.

Перейдя песчаный проток, он вступил на промывтую дождями лесную тропу. Тропа круто поднималась вверх. Никита Романович хватался за придорожные дубки. Ветки били его по

лицу, рвали бороду, но он все шел, зная наверное, что оступись он — и сейчас же земля притянет его к себе.

— Не поддамся! Одолею!

Вот отошла назад Лысая поляна с одиноким кустом древней ракиты, вот уж завиднелись искривленные бурями, омертвелые ветви Сухого дуба, около которого испокон веков прощались провожавшие с уходящими из села. Никиту Романовича потянуло прилечь меж мертвых корней дуба, где росла тонкая и удивительно мягкая трава.

— Нет, не одолеешь! — застонал он и обеими руками ударил о жесткую, как камень, кору дерева.

— Игнат! Игнатушка! — кричал Никита Романович и не мог понять, почему его крики не заглушают унылого стона горлинок.

Над головой его, кося одним крылом, проплыл самолет. Мощный и ровный гул мотора вернул Никите Романовичу спокойствие. Он почувствовал, что очень хочет пить. Отбросив кол, он подошел к зеленому озерку, со дна которого неугомонный ключ вздымал песочный фонтанчик. По воде, пересекая отражение облака, лихо носился долгоногий жук-водомер.

Никита Романович опустил на колени и склонился над водой. Снизу, из синих недр, на него надвинулась темная и страшная голова. «Да ведь это я сам такой стал!» — Он внимательно оглядел свое распухшее лицо, затекшие глаза.

— Таким меня и родной внук не узнает, — вслух сказал Никита Романович и попытался

подняться на ноги. Он дернулся головой, шевельнул плечами, но страшное отражение почему-то продолжало приближаться к самым глазам. Вот свисшая борода пустила по воде рябь. Он глотнул воды и почувствовал, что руки его погружаются в мягкую влагу все глубже.

В это мгновение на поляну выбежала Агафья. Вскрикнув, она метнулась к источнику и схватила Никиту Романовича за плечи.

...Водомер скользнул на своих ходулях по разбежавшимся волнам и притаился под листом мать-мачехи. Над озерком низко пролетели две горлинки и снова принялись было жаловаться на грустную жизнь, но их воркотню заглушил топот многих ног, треск кустов и людские голоса.

Игнат пошел со станции пешком. Уже в дороге ему попалась попутчица, молодая девушка из соседней деревни, Аня — техник на подмосковных торфоразработках. Аня ехала к родным в отпуск.

Они знали друг друга понаслышке, но быстро познакомились, и между ними завязался интересный, полный намеков, летучий и радостный разговор.

Когда молодые люди подходили к лесу, их внимание привлек серый, с красными крестами на крыльях, самолет.

Следя за самолетом, Игнат миновал развилку, где от широкой дороги отделялась битая тропа на лес. Он хотел было повернуть назад, но ему показалось неудобным прерывать интерес-

ный разговор с умной и веселой девушкой. Игнат с сожалением оглянулся и пошел рядом со своей спутницей.

Они шли наезженной дорогой и все гадали, почему полем бегут люди и кому в этих местах мог понадобиться санитарный самолет.

1938

## Счастье

### 1

Старшего свинаря колхоза «Луч коммунизма» Алексея Долматова все звали Деткой.

Он не обижался на это прозвище и добродушно объяснял, что звать его так стали с тех пор, когда он, будучи молодым парнем, напился однажды пьяным и покойник-отец все старался удержать его на ногах и подбадривал: «Держись, детка! Вино, оно хитрое, в грязь свалит. Крепче, детка!»

Рассказывая об этом, Алексей задумчиво улыбался и опускал вниз печальные глаза, словно до сих пор стыдился прежнего, хотя происшествию тому было около двадцати лет.

Алексей был большой, медлительный человек. Вопреки новому обычаю он не брил бороды, она росла у него только на щеках да внизу, на шее, не закрывая длинного подбородка. Густо-черный волос подчеркивал здоровый цвет лица и белизну длинных, редких зубов.

Жил Алексей вместе с младшим братом Васькой, взбалмошным и упрямым мужиком, никак не желавшим работать в колхозе. Васька слонялся по разным городам и селам в поисках за-

работка, нередко загуливал и приходил домой рванный, без гроша в кармане. Поболтавшись недели две дома, он опять скрывался, обещая брату на этот раз «беспременно зашибить настоящую деньгу». Алексей давал ему свой пиджак, сапоги, хорошо зная при этом, что Васька говорит неправду, одежду и обувь он пропьет и снова голым-голый вернется домой.

— Да шут с ним!— отвечал Алексей, когда соседки начинали при нем бранить Ваську.— Авось, мне, кроме него, заботиться не о ком.

— Но весь век-то ты с ним не проживешь? У него, видишь, целых шестеро растут. Скоро тебе в избе сесть негде будет. Готовить под старость надо, а ты головы не ломаешь. Век прожить — не поле перейти. Еще, чего доброго, оженишься...

— Ну, этого никто не знает. А Васька мне не чужой.

Напоминание о женитьбе надолго лишало Алексея спокойствия. На ум ему приходило то, что он изо всех сил старался забыть: ранняя юность, глупая женитьба, оскорбительная бедность отцовской семьи...

Женили его девятнадцати лет, и тогда же он первый раз в жизни обул новые, с галошами, сапоги. Сапоги ему купили по дешевке, на толкучке, и после оказалось, что подметки у сапог были картонные.

Невесту Алексею высватали в хорошем доме. Звали ее Дашкой. Веселая, с ясными, немного раскосыми глазами, она вышла за него против своей воли. Оттого, что девушка была раскоса,

ее обходили женихи, поэтому родители ее поспешили выдать дочь в бедный долматовский дом. Дашка прожила с Алексеем с мясоеда до весны, а потом ушла к матери, а вскоре уехала в Москву.

...В эту же весну Алексея призвали в Красную армию. Он вернулся домой года через четыре. История с его женитьбой к тому времени забылась, и никто в семье не завел с ним речи о новой жене. А тут пошли дети у брата. Анисья, жена Васьки, тихая, с большими задумчивыми глазами женщина, постоянно беременная и скоро потерявшая остатки неяркой девичьей красоты, вызывала в Алексее жалость. Он безропотно взял на себя все заботы по дому, возился с племянниками, плел им лапти и по вечерам учил по букварю читать.

Погрызшая в хлопотах, Анисья не всегда успевала справиться неотложные дела одинокого деверя, потому Алексей часто ходил в затасканной рубашке, на которой недоставало пуговиц, не имел крепких варежек.

— Да ладно! — отмахивался он, когда сплетницы-соседки намекали ему на нерадивость Анисьи. — Или ей разорваться?

— Э-эх, прямой ты Детка! — качали головами устыженные охотницы вмешиваться в чужие дела и нередко сами зашивали на одежде Алексея дыры и прикладывали заплатки.

С тех пор, как Алексей стал старшим свином и его несколько раз премировали деньгами и товаром, — сочувствие соседок стало более теплым.

— Какие ты деньги получаешь, Детка, ведь

это подумать! Трех жен обеспечить можно, а ты беспричальный ходишь.

Эти намеки раздражали Алексея. Чтобы не встречаться с людьми, он большую часть дня проводил в свинарнике, а после сделал себе там маленький чуланчик и в уединении, под несмолкаемые голоса своих питомцев, читал или мастерил что-нибудь для дома. Вечера же он, по обычаю, проводил в избе-читальне.

На правах неженатого человека Алексей принимал участие во всех делах колхозной молодежи. Он несколько раз прослушал курсы по текущей политике, занимался на курсах бригадиров-полеводов, окончил школу по уходу за домашними животными.

— Схлестнулся с ребяташками, как чорт с младенцем! — смеялись над ним сверстники.

Алексей не обращал на это внимания. Он продолжал жить так, как умел, делал то, к чему лежала душа, и искренно радовался, что за последние годы свиноферма колхоза по всем показателям неизменно выходила на первое место в районе.

## 2

Спокойную жизнь Алексея нарушил его дальний родственник Митрошка, бесцветный и мозглявенький человек, один из тех, с кем якшался его забубенный брат. Митрошка пропадал месяца три и в конце лета неожиданно пришел домой. Вечером того же дня он прислал к Алексею своего сынишку с наказом «показаться на глаза немедленно».



Митрошка встретил Алексея на пороге своей покривившейся избы и прямо сунул ему в руки большой узел, туго завязанный в полинявший платок.

— Бери-бери! — закричал он. — Это тебе счастье привалило, Детка!

Алексей неловко взял узел и, держа его на вытянутых руках, вопросительно посмотрел на Митрошку.

— Принимай, тебе говорят, и никаких! — Митрошка тыкал в узел кривым грязным пальцем и заглядывал в лицо Алексею вороватыми глазками. — Получил я, можно сказать, без расписки, мог бы притаить, конечно, но я себе этого не позволю. Не такой я человек. Раз мне сказано — передать Детке, я по инструкции и поступаю. Получай!

И когда недоумение Алексея стало переходить в злобу на этого пустого и болтливого человека, Митрошка вдруг сел на лавку и, пошмыгав о колени ладонями, сказал:

— С какого идола тебе счастье такое, Детка? Прямо ума не приложу. Это тебе, знаешь, кто прислал? Ага! Сроду не догадаешься! Дашка! Глазки лопни, она! Твоя бывшая жена! «На, — говорит мне, — свези, Митрофан Микитович, верный ты мой человек, другу моему Алеше на большую от меня память».

Пораженный этим известием, Алексей сел и положил узел рядом с собой.

Из бестолкового рассказа охмелевшего Митрошки он понял, что тот, замотавшись в Москве, нашел Дарью и выпросил у нее денег на дорогу.

— Живет она, прямо сказать, чисто! — рас-

сказывал он.— Служит в градской больнице, и квартира у нее при должности. А меня приняла — ну, как родного брата! Не знает, куда посадить и чем потчевать. И вина всякого, и разной-разности по части закуски. Потом про тебя начала доспрашивать: «Как живет, мол?» — «Какая его жизнь, — отвечаю ей, — у брата, — говорю, — семьища, сам Васька, окромя пьянства, ничего знать не знает. На Детке, мол, весь дом стоит, а, между прочим, сам Детка ходит необрядный, рваный...»

Алексей крикнул и шевельнул плечами. Митрошка поспешно вскинул к нему свою птичью голову:

— Ну, приврал, конечно! Каюсь чистосердечно. Но без вранья ты такого узлища не получил бы. Понял? Тут, брат, тоже смысл в голове иметь надо. Как подойти да что сказать. А то ляпнешь — и пойдешь с пустыми руками. Тот и оно!

Когда Алексей нес узел домой, ему было неловко смотреть в глаза встречным, словно все давно знали о том, что он получил подачку. Ему захотелось побыть одному. Не доходя до своего крыльца, он свернул в сторону свинарника и здесь, в чуланчике, запершись на крючок, развязал узел.

Линялый с полустершимися на кайме цветочками, платок напомнил Алексею что-то давно забытое и такое милое, о чем, казалось, он не переставал тосковать. Хорошо вытерев о штаны руки, он осторожно приподнял лежавшую на самом верху узла рубашку — ситцевую в голубую по белому полоску — и подержал ее на ладони. Сложенная руками заботливой женщи-

ны, рубашка растрогала Алексея. Он улыбнулся, и горячая волна невыразимой радости опалила ему ресницы. Связанные с образом далекой Дарьи, все эти рубашки, ношенные штаны, подштанники казались давно привычными. Алексей раскладывал их на широких коленях, собирал вновь в высокую стопку и не мог сдержать радостной улыбки.

Когда пришли подручные свиляры, Алексей запер чуланчик на ключи и начал готовить свиным месиво. Стоя на невысокой скамейке, он мешал в большом чану тяжелым веслом и изредка вскидывал глаза в просвет ворот, мимо которых пролежала унавоженная дорога на коровник. Этой дорогой в этот час ежедневно проходила старшая телятница Ариша. Обычно она задерживалась у ворот и, отвертывая от ветра свое большое, круглое лицо, окаймленное прядями тяжелых волос, перебрасывалась со свилярами шуткой. Алексей шутливо замахивался на нее грязным веслом, и Ариша убегала от него с таким видом, словно приглашала его следовать за собой.

Скоро в пролете ворот показался клетчатый платок Ариши. Заложив под фартук руки, она оглядела свилярей. Но на этот раз Алексей не заговорил с Аришей. Ему вспомнилось, что в колхозе давно посмеиваются над простодушной Аришей, называют ее его невестой, и ненаходчивая девушка так смущается, словно люди раскрыли ее тайну.

Не встречаясь взглядом с Аришей, Алексей начал разливать месиво по ведрам. Ариша пошла дальше, твердо ступая тяжелыми полусапожками. Ветер толкал ее в спину и, слегка

загибая в сторону кулек подоткнутой юбки, обнажал лиловые шерстяные чулки.

И все время, пока продолжалась кормежка свиней, Алексею помнился недоуменный взгляд Ариши и скорбная складка рта. Он чаще обычного стегал ремешком по ушам жадных поросят, залезавших в корыто, и все больше злился на себя, на Митрошку, спутавшего его налаженную жизнь.

На другой день Алексей аккуратно переписал присланные Дарьей вещи и, узнав от женщин базарные цены, подсчитал стоимость всей посылки.

По несколько раз в день он перебирал стопку белья, примерял рубашки. Ему очень хотелось одеться во все свежее, но было стыдно выйти во всем чужом на люди. Тем более, что Митрошка давно уж разблаговестил по всей деревне о том, что «старая жена вспомнила Детку и одела с ног до головы».

Он снова укладывал присланные Дарьей вещи в сундучок, где у него хранились книжки, новый картуз, желтые сандалии и брезентовый плащ, которым его премировал колхоз.

### 3

По первозимку, когда правление колхоза начало выдавать на трудодни хлеб и деньги, Алексей зашел к Митрошке. Тот лежал на печке, мучаясь жестоким похмельем. Желтый, опухший, со свисшими на лоб клоками жеваных волос, Митрошка молча протянул Алексею руку и с тяжким стоном повернулся на бок.

— Слышал я, деньжищ и хлеба получил ты, Детка, на семерых.

— Заработал малость,— ответил Алексей.

— Хороша малость!— неизвестно на что рассердился Митрошка.— Ломаются, дьяволы! «Малость!» На эту малость хороший человек три семьи прокормил бы. Везет же таким дуракам. Дома получают, и бабы разные шлют, чтоб их чорт съел!

Алексей окинул глазами избу и понял, что непутевый Митрошка совсем запутался и его семью ждет холодная и несытая зима. В другое время он не удержался бы и поругал Митрошку за лень, за мотовство и пьянство, но сейчас ему не хотелось портить с ним отношений.

— Ты адрес ее знаешь?— спросил он и в смущении собрал бороду в горсть.

— Чей?— подозрительно глянул на него Митрошка и сейчас же оживился — Ты про Дашку, что ли? Ну, как же не знать? А тебе зачем он?

— Нужен.

— Ставь половинку. Без этого не скажу.

Митрошка оживился, сел на край печи и свесил большие, давно немые ноги.

— Жену искать хочешь? Так в этом деле выпивка самое раззаконное дело. Жалко? Тогда катись! Никаких тебе адресов от меня не будет!

Он сделал попытку опять закинуть ноги на печку. Алексей положил на стол шапку и полез в карман за деньгами.

Из пол-литровки, принесенной Митрошкой, Алексей выпил неполную чашку и тотчас по-

чувствовал, как хмель сделал его движения четкими и развязал язык. Прожевав кусок черствого хлеба, Алексей встал и принялся ходить по избе. Он чувствовал себя большим, сильным и красноречивым.

— Тут важно не то, что Дарья вспомнила меня,— говорил он, обращаясь к Митрошке, который сосредоточенно ловил пальцами рыхлый и скользкий соленый гриб.— Не в этом суть. Зачем она унизила меня, по какому полному праву? Ты понимаешь, Митрофан?

— Все как есть понимаю. Одним словом, стерва!

— Фу! Не так! Ах, какой ты! Ругать ее не за что. Она хорошая женщина. Скажи она мне, я за нее жизнь отдал бы сто раз. Конечно, люди понимают наши дела не так, они считают, что Дарья обидела меня. А может, я ее обидел — кто между нами двоими разберется? Ага! Ну, бросила она меня, ну, хорошо, это было давно, нас с ней женили дуром, старики так захотели. И Дарья разорвала свои путы в ключья! Это можно только приветствовать. И я приветствую! Но на данный день она унизила меня. Жалостью своей! Женской добротой! Ты этого не поймешь, Митрофан, потому что ты забулдыга, ты остался прежним пильщиком, пьяницей и лгуном. В тебе нет нашей советской гордости. Ты не топырь на меня пальцы! Я тебя не боюсь. Тебе недоступна гордость колхозника. А я горд! Ну, Даша вспомнила меня. Хорошо, я ей глубоко благодарен. Но зачем же эта подачка? Зачем? Разве я беднее ее? Разве мы тут живем попржнему? Кто дал ей право жалеть и унижать меня? Я протестую!

Митрошка топтался около него и размахивал руками:

— Верно, Детка! Я тоже протестую!

Красный, растрепанный, Алексей широкими шагами ходил по избе. Иногда он останавливался у стола и бил себя кулаком в грудь. Но хмель скоро прошел, и Алексей заговорил тише:

— Сначала я думал отослать ее узелок обратно, Потом передумал. Обидишь ее безжалостно,— а может, для нее так именно и надо? Отсылать не годится. Приму ее гостинец, приму! Но пусть она знает, что я не побираюсь, что мы стали жить самостоятельно. Поэтому завтра же я пишу ей перевод и посылаю сто рублей.

Осовелый Митрошка сидел перед пустой посудиною и размахивал тяжелой рукой.

— Верно! Все справедливо! Подписываюсь, хотя ты и дурак, Детка. Телок ты нелизанный!

В эту ночь Алексей часто выходил за порог сеней. Слегка морозило. Нетронутый, тонкий снежок лежал голубым полотном и, казалось, освещал безлунное небо. Хмель выходил у Алексея легким ознобом. Мысли его приобретали ясность, и образ далекой, молодой Дарьи возникал перед ним трогательный и близкий.

Под утро Алексей впервые за пятнадцать лет признался самому себе, что все эти годы он жил одной мыслью о Дарье, надеждой на ее возвращение в его опустевший и безрадостный дом.

Утром он сходил в город и сдал на почте перевод.

И уж положив в дальний уголок сундучка

квитанцию, Алексей счел себя вправе надеть присланные Дарьей рубашку, штаны и тесемчатый пояс.

В этот день в их доме был праздник. Анисья придела детей в обновы, накупленные ею на квитанции по хлебозакупу, принарядилась и сама. Васьки дома не было, и не от кого было беречь чинную домашнюю тишину. Праздничный наряд сильно молодил Анисью, она вдруг стала тиха и впервые за много лет не кричала на развеселившихся детей. Алексей чувствовал, что Анисья благодарна ему за его заботу о ней, о ее детях, и, боясь, что она может заговорить об этом, начинал громко разговаривать с ребяташками, которые грызли хрупкие, как стекло, леденцы.

Вечером у свинарника Алексей встретил Аришу. Она была в новом пальто с черным меховым воротником и в высоких блестящих ботинках, делавших ее выше и стройнее.

Ариша посмотрела на Алексея и осторожно улыбнулась:

— Какой ты нынче...

— А сама-то какая.

Ариша погладила пальцами рукав пальто. На щеках ее вспыхнул румянец.

— Какая была, такая и осталась.

— Не совсем.

Алексей стоял перед Аришей, опершись на тяжелое весло, которым размешивал в чану свиное месиво. Девушка так хорошо и просто скидывала на него большие серые глаза, что он смущался и с трудом поднимал отяжелевшие ресницы.



Глядя мимо лица Ариши, он протянул руку и прикоснулся к ласковому ворсу воротника.

— Теплый?

— Ага...

Ариша подняла на него тихие глаза и в волнении облизала губы. Алексею показалось, что девушка сейчас заплачет. Он отдернул руку, для чего-то положил весло на плечо, потом стремительно повернулся и ушел в свинарник.

Посылая Дарье деньги, Алексей понимал, что делает это не из одной только гордости. Он боялся, что, послав ему посылку, Дарья снова забудет про него на много лет, если не навсегда. Ему нужно было закрепить эту благодаря беспутству Митрошки возникшую связь, чем-то затронуть интерес Дарьи, пробудить в ней воспоминание о прошлом, рассказать ей о себе.

Поэтому он каждый день ждал письмоносеца, стараясь к его приходу попасть в правление колхоза.

Однажды письмоносец, увидев подходившего к дому правления Алексея, задержался на пороге.

— Тебе, брат, посылка и деньги.

— Какие деньги?— удивился Алексей.— Неужели Василий мой за ум взялся?

— Дождешься ты от этого лантрыги! — пренебрежительно ответил письмоносец, роясь в сумке.— Не Васькой тут пахнет,— тянул он, перебирая письма.— Он, небось, сам от тебя на дорогу ждет. Вот видишь — от кого?

Алексей взял в руки перевод, и в первое мгновение ему показалось, что он разучился читать.

Деньги были присланы Дарьей.

Она писала при этом:

«Как же тебе, Алексей Михайлович, не стыдно считаться со мной? Или ты уж совсем забыл про меня, и я для тебя стала чужой? Мне это очень прискорбно, а мелочишку всякую я прислала тебе ото всей души, потому, как Митрофан сказал мне, что ты еще не женился и тебя некому обрядить. О деньгах и не заикайся, если хоть немножко держишь меня в своем уме. А то и так довел меня до горьких слез. Остаюсь известная тебе Дарья Петровна Долматова».

Все в этом письме — от родственных укоров до подписи («Фамилию мою все-таки не бросает!») — было удивительно.

Но еще больше удивился Алексей, получив посылку.

В небольшой еловый ящик Дарья наложила всякой всячины, как для малого ребенка: конфеты, печенье, сухари. На самом дне ящика Алексей обнаружил бутылку запеканки и две коробки килек. Волнуясь и спеша, он извлек все содержимое ящика, разложил на столе, и опять перед ним возникло лицо Дарьи, какой она запомнилась ему в первые дни после их свадьбы.

Он тогда старался избегать ее взглядов, чувствуя ее близость грудью, плечами, всем телом, и, когда она отдалялась от него, он не находил себе места. Дарья притягивала его к себе своим гибким, журчащим голосом, своей повадкой; горячий взгляд ее темных, чуть-чуть

сдвинутых к переносью глаз повергал его в трепет. Иногда он выходил за порог сеней, долго стоял на морозе в одной рубашке, обнимал руками голову и вслух спрашивал самого себя: «Что же это делается, Алешка? С ума сойти можно!»

Первую каплю горечи в его сердце влили родственники.

Подводя счет свадебным тратам, они с затаенной злобой вспомнили, сколько с чьей стороны народа гуляло на свадьбе, кто чем угощал, пересчитали приданое и почти открыто начали обвинять сватьев в нечестности и лихоимстве.

И, как это исстари водилось, родственники вовлекли в свои счета молодых. Алексею шептали, что Дарью сбыли за него потому, что ее никто, кроме него, не взял бы, дескать, «нашли дурачка и обрадовались», а Дарье родные открыто говорили, что «ошиблись, выдали за голяка, теперь близок локоток, да не укусишь...»

Алексей замечал, как с каждым днем все больше мрачнела Дарья. Иногда ему хотелось переколотить своих и жениных родственников, взять Дарью за руку и увести на край света. Но он еще стеснялся говорить с ней прямо, у него холодело в груди при одной только мысли сказать Дарье о своей к ней жалости. Таким образом, каждый новый день отдалял от него Дарью, она избегала оставаться с ним наедине и все чаще уходила ночевать к матери.

Помнится, пасха в тот год была поздняя, сады стояли в зелени, и вечерами в пруде голосисто квакали лягушки. В первый день праз-

дника Алексей играл с молодыми мужиками в орла, потом увлекся бабками и наиграл себе два полных картуза разноцветных бабок. А вечером к ним в дом пришел брат Дарья звать молодых в гости. Посла нужно было угостить, но у Долматовых не на что было купить водки. Алексей попытался было взять в шинке в долг, но ему отказали. Так посол и ушел без угощения.

Дарья очень разгневалась за обиженного бесчестием брата. За ужином она вдруг бросила ложку и запальчиво проговорила:

— Тоже жители! Вам не жениться, а милостыньку просить!

Алексей попытался остановить ее, но Дарья не дала ему выговорить слова:

— Ты бы уж молчал, Детка! Тебе в гости пойти не в чем. В чужом пиджаке венчался!

— А ты, богачка, купила бы молодому муженьку,— ядовито сказала мать Алексея.

— Я?— удивленно спросила Дарья.

— А то кто же? — ответила мать.— Он тебе муж теперь, а твоему богатому папаше — зять. Вот, чтобы не было бесчестно пройти с мужем по селу, ты бы и справила ему весь наряд, чем на нас-то фыркать.

Дарья плюнула и вышла за дверь.

Утром на другой день она ушла к своим в гости и не вернулась.

Тогда Алексей был страшно обозлен. Он грозил отцу Дарья, покушался избить ее братьев, но потом злоба перегорела: война надолго отвлекла его от семейных дел.

В последние годы Алексей даже не знал толком, где находится Дарья и жива ли она. У него появилось полное равнодушие к личной жизни,

он не верил ни одной женщине, и всю силу своей любви перенес на племянников.

И вдруг эта посылка!

«А может, Дарья ждет меня?»

Алексей испугался этой мысли, торопливо закрыл ящик и поставил его под стол.

В эту ночь он не сомкнул глаз. Ему отчетливо припомнилась первая ночь после свадьбы.

...Их положили в холодной горнице. На каменных стенах сверкали стрелы выступившей изморози. Постель была холодна, как прорубь. Дарья быстро юркнула под толстую попонку и натянула на плечи волосатый воротник тулупа. Вытянувшись, она дрожала мелкой дрожью, и Алексей слышал, как у нее стучали зубы. Близость Дарьи превратила его в камень. Он боялся даже громко дышать. Дарья дрожала все сильнее и дула в окоченевшие ладони. Тепло ее дыханья проникало к спине Алексея и вызывало знобкие мурашки. Он смотрел на желтое пламя лампы, поставленной на опрокинутую кадушку. Лампу ему велели потушить, но он все оттягивал, страшась тьмы.

Не повертывая головы, он сказал:

— Ты коленки подогни. Тогда много теплее станет...

Дарья задержала дыханье, потом, обрывая концы слов, выговорила:

— Коленками я тебя совсем спихну...

— Мне просторно,—ответил он тогда и подвинулся на самый край узкой постели. Через мгновение ноги его очутились на полу. Он не свалился с кровати потому только, что удержался рукой за угол подушки. Дарья держала его

за плечо и смеялась, вздрагивая всем телом. Посмотрев в ее лицо, круглое от низко повязанного платка и такое ласковое, Алексей громко захохотал, потом быстро лег на кровать лицом к Дарье. Она близко глянула ему в глаза.

— Огонь потушить?— шопотом спросил он. Она согласно смежила ресницы.

— Согрелась?— во тьме спросил он.

— Да,— ответила она и широко открытым ртомдохнула ему в глаза.

...Воспоминание было так свежо и ярко, что казалось, будто не было этих пятнадцати лет одиночества.

Под утро Алексей пришел к твердому выводу, что и он сам, и Дарья страдают по своей вине, и счастье, о котором втайне тосковал, он выпустил из своих неловких рук.

За завтраком он роздал детям печенье, обделил конфетами; Анисье и себе налил по рюмке липкого от сладости вина.

Когда он сообщил Анисье о своем решении поехать в Москву, та обняла усевшихся около нее счастливых от гостинцев детей и горько заплакала.

У Алексея дрогнуло сердце. Ему показалось, что он навсегда отрекался от этой несчастной и хорошей женщины.

— Тебя я не брошу, Оня. Верное слово! Сердце-то ведь у меня есть.

Анисья открыто глянула ему в глаза и покачала головой:

— Потешаешь ты меня! Будет жена, будут и другие песни, Алексей Михайлович...

На пороге квартиры Алексея встретил высокий слегка заспанный мужчина. Он был гладко выбрит, но усы и волосы на голове лежали в беспорядке, и это придавало ему озорной, веселый вид.

— Вам кого надо, любезнейший? Дарью Петровну? Есть такая. Прошу под навес, тут разговаривать способнее.

Он протянул Алексею руку и крепко сжал его пальцы:

— Мартынов. Величают Федором Васильевичем. А вас как прикажете?

Алексей назвал себя и сразу почувствовал, что новый знакомец — простой, обходительный парень.

Он поставил свой зеленый баул и тяжелый мешок у двери на пол. Федор Васильевич тем временем взял с дивана кожаное пальто, подушку в голубой наволочке, поправил валик и обернулся к Алексею:

— Вот садитесь и ждите свою землячку.

— А разве она не дома?

— Наверное, дежурит. Пришел я часов в пять утра, ее уж не было.

— С работы поздно-то так?

— Работа-то уж очень стала колготна. Спишь безо времени ешь на ходу. Шофером работаю,— скороговоркой добавил Федор Васильевич, уловив вопросительный взгляд Алексея.— Народу, понимаете, в бригаде нехватает, приходится перерабатывать. Вот и кисну от дневного сна.

Федор Васильевич протянул Алексею помятую

коробку и потрянул ею, выбрасывая папиросу. Курил он, глубоко затягиваясь, и дым выпускал изо рта густой и длинной струей.

Прямо против дивана висело большое зеркало. Алексей видел в нем широкоплечую фигуру Федора Васильевича, его сухое лицо с прямым крылатым носом и глубоко запавшими серыми глазами. Рядом с ним ему чужим казалось собственное отражение. В черном, опущенном рыжей мерлушкой пиджаке, в новых сапогах, он нравился самому себе и выглядел значительно моложе своих лет.

Погасив папиросу, Федор Васильевич умылся, долго вытирал перед зеркалом крепкую, покрывшуюся розовыми лапками шею, потом поправил ремешок и весело глянул на Алексея.

— Теперь в самый раз и позавтракать. Вы как на этот счет?

— То есть?

— Насчет того, чтобы закусить и выпить. Голосуете? Ну, в таком случае вот что, милый друг. Вот вам бумажка, пойдите за угол и купите маленькую, на четверть литра. К ней приложите кило хлеба и хорошую селедку. Все ясно?

Алексей неуверенно взял в руки бумажку в три червонца.

— Что, боитесь заблудиться? Тут так просто, что малый ребенок не спутается. Прямо из ворот налево, на правом углу — стоп! Шевелитесь быстрее, а я займусь чаем.

Федор Васильевич взял Алексея за плечи и провел до двери. У выхода он улыбнулся Алексею и так мягко провел ладонью по его спине, что Алексей быстро выбежал за ворота, на-



шел магазин и, не переставая улыбаться, закупил все, что поручил ему Федор Васильевич. Он никак не мог понять, почему Федор Васильевич так расположился к нему, впустил в свою комнату и даже решил угостить. «Наверное, сослуживец Дарьи или хороший знакомый. В Москве познакомиться нехитро. Теснота — живут в кучке, вот и привечают чужих гостей».

— Ну, как тут она, землячка-то моя? — спросил он Федора Васильевича, снимая с себя пиджак.

— Дарья Петровна? — Федор Васильевич присел на корточки перед табуретом и, хмуря брови, старался прочистить горелку примуса. — Ничего, бабочка аккуратная. У вас в деревне все, что ли, такие?

— Не все, а имеются! — рассмеялся Алексей.

— Старательная женщина, — задумчиво произнес Федор Васильевич. — Он смотрел на пламя примуса и прихватывал нижней губой мягкие усы. — Все премии получает. Одно скверно — дома не живет. Как ни зайдешь — все ее нет дома.

«Ну, значит, правильно! Дружит с ним Дарья», — решил Алексей и опять улыбнулся неведомо чему.

Федор Васильевич поставил на примус чайник, достал откуда-то миску с холодным картофелем и подал ее Алексею:

— Ну, вы снимайте с картошки мундир, а я займусь селедочной шкурой.

И, постреливая на Алексея хитроватым глазом, он принялся за селедку. Все у него получилось складно, толково и без суеты. Сразу

было видно, что человек давно приучился обходиться без женщины. «Наш бы брат, деревенский,— подумал Алексей, озирая коммунальную тесноту кухни,— тут так бы наворочал, что семь женщин в полдня не разобрались бы».

Это приготовление пищи в обществе веселого товарища напомнило Алексею фронтовую молодость, вкус огненно-горячего борща, через котелок обжигавшего ладони.

— На фронте бывать приходилось? — спросил он, улыбаясь.

— Ну, а как же! — ответил Федор Васильевич. — В одиннадцатой армии провел всю кампанию. Кубань, Кавказ — все огни и воды.

— Уцелел?

— Местах в двух пулькой царапнуло.

— Меня тоже...

По первой рюмке они выпили молча. Федор Васильевич наложил Алексею полную тарелку яичницы и пододвинул тарелку с хлебом.

Водка обожгла гортань и налила тяжестью тело. Алексей отвалился от стола и потрепал пальцем бороду. Федор Васильевич молча налил по второй.

— Фу-у! — Алексей выдул изо рта спиртовую горечь. — Озорна, дьявол ее сломай!

— Или пьешь мало? — сочувственно спросил Федор Васильевич, незаметно переходя на «ты».

— Немного, — прикидываясь, что сожалеет о том, сказал Алексей. — Дело наше не позволяет.

— Против водки голосует всякое дело, а ничего не поделаешь, — пьем.

— Ну, ваша статья особая. Вы свою железную скотину поставили, она пить-есть не за-

просит. А наша, она так на часы и смотрит. Свинья — это такое существо...

— Капризное?

— Не так чтобы, а требует большой аккуратности.

— Нравится работа-то?

— Пока — да. Свинья, она, понимаешь ты, Федор Васильевич...

— Зови проще...

— Я еще вроде как стесняюсь, Федор Васильевич... Так вот, свинья, она требует прилежания к делу. Она все учтет — как ее к корму позовешь, что скажешь. Если на иную свинью крикнешь сгоряча или махнешь на нее, — так она и к корыту не подойдет. Хмурится, никакой в ней живности не видно. Ну, а соответственно — и привесу не жди.

— Понимает? — удивился Федор Васильевич.

— А как же вы думаете? Скрозь все знает. Ее, брат, не обманешь. Или возьмем супоросную свинью. Опростается она, родимая, — ведь за ней, как за женщиной, смотришь. Ведь если она, касатка, не как надо повернется, так сразу штук пять поросят придавит. Это уж обязательно! И вот как начнется массовый опорос, разве тут выпьешь?

Водка давно была выпита, и на столе в беспорядке стояли пустые тарелки. Алексей широким жестом расправлял бороду, ходил по комнате. Теперь он говорил о себе, о Дарье, о их нескладной молодости, о том, наконец, что сейчас в деревне растет другая молодежь, которая не позволит другим распоряжаться ее судьбой.

— Это мы были... — он широко развел руки и замер среди комнаты.

В раме двери стояла белолицая с темными, чуть-чуть раскосыми глазами женщина. Она смотрела на Алексея, и он видел, как краска сбегала с ее щек.

— Алеша! Какими ты судьбами? Господи!

Алексей держал руку Дарьи в своей, не спускал глаз с ее лица и никак не мог выговорить первого слова.

6

Дарья оглянулась на притихшего Федора Васильевича, потом решительно обняла Алексея и поцеловала в губы.

Алексей закрыл глаза.

— Узнала? — прошептал он.

— Из тысячи бы отличила! Ух, какой же ты стал большой, бородатый!

Она сбросила с головы косынку, поправила тяжелый узел волос и все спрашивала, не давая Алексею возможности ответить. Федор Васильевич смотрел в окно и усиленно дымил. Дарья посмотрела на него и улыбнулась Алексею юдными глазами. И такое у нее при этом было милое лицо, что Алексею захотелось стать перед ней на колени и попросить у нее прощения за то, что он уже выпил и совсем забыл о ней в обществе ее замечательного соседа.

Дарья, словно прочитав его мысли, весело спросила:

— Вы, я вижу, уж наугощались?

— Первый сорт! — ответил Алексей и дружески посмотрел на Федора Васильевича.

— Вижу-вижу! — Дарья покачала головой и начала прибирать на столе.

Алексей пристально следил за ее движениями, мысленно сравнивая ее с той, прежней, с его молодой женой. Он не мог не заметить, что Дарья сильно постарела, около ее глаз и в уголках рта появились тонкие морщинки; чистый лоб избороздили складки забот и огорчений прожитой жизни. И в груди Алексея теплело от мысли, что вот сейчас она позовет его в свою комнату и там он скажет ей о том, что отныне он возьмет на себя все ее заботы и скрасит, как сумеет, ее одиночество.

Дарья бросала на него быстрые взгляды. Когда она поднимала голову у нее обнажалась шея — белая и нежная шея соблюдшей себя женщины. То же ощущение чистоты создавали и ее ловкие маленькие руки. Алексей чувствовал, что начинает задыхаться. Он переводил взгляд на носки своих сапог.

Наконец Дарья прибрала на столе, покрыла его чистой скатертью и пригласила Алексея присесть поближе.

— Будем чай пить. Хочешь, Алеша? Да ты не стесняйся, садись со мной рядом. Ух, ну, никогда не думала, что когда-нибудь буду вот так сидеть с тобой. Прямо, как сон. Но думала я о тебе, Алеша, постоянно...

— Я... пожалуй, тоже,— тихо сказал Алексей и осторожно посмотрел на Федора Васильевича, который, положив на стол большие руки, смотрел на него и на Дарью.

Дарья встретила его взгляд и улыбнулась.

— Его можно не стесняться. Федя у меня не ревнивый. И о тебе я ему не один раз говорила. Молодость,— всякому простительно. А наша молодость, Алеша, была невеселая...

— Это истинная правда,— тихо ответил Алексей.

Грустная минута долго не задержалась. Дарья опять улыбнулась и вдруг положила руки на плечи Алексею и Федору Васильевичу.

— Вот время какое подошло! Старый муж и новый за одним столом со мной сидят...

Алексей почувствовал, как кровь отлила у него от сердца. Он поднял отяжелевшую голову и посмотрел в лицо Дарье. Та улыбнулась шире:

— Да-да! А ты разве не догадался? С Федей я уж двенадцать лет живу.

Федор Васильевич встал и обнял Дарью за плечи:

— Кто с кем — ты со мной или я с тобой — теперь не разберешь.— Он близко заглянул ей в глаза.— Вот только дома ты не живешь вовсе, приходится заниматься самообслуживанием.

— Работа того требует.

— А моя работа? — Федор Васильевич сделал страшные глаза, но сейчас же засмеялся, притянул к себе Дарью и звучно поцеловал в щеку.

Алексей не мог поднять на них глаз. Ему до мучения было стыдно за свои большие красные руки, за деревенскую бороду, за речи, которые он говорил Федору Васильевичу.

Дарья отстранилась от мужа и под села к Алексею.

— Ну, ты-то как? Что же про себя не расскажешь? Не про работу,— об этом я уж слышала и хвалила тебя, а вот как жизнь твоя движется? Живешь с кем? Неужели все один?

— Почему один? — Алексей овладел собой и открыто посмотрел Дарье в лицо. — Кто сказал, что один? Я женился.

— Правда? — встрепенулась Дарья.

— А что же этот пистолет, Митроха, врал тут? — строго сказал Федор Васильевич.

Алексей расправил плечи и тихо сказал:

— Верное слово. А Митрофан, он и совет — недорого возьмет. Женился я, как же...

— На ком? Чья она? Девка или уж вдова? — нетерпеливо расспрашивала Дарья.

Алексей уловил в ее голосе открытое восхищение его удалью, и он длинно и хорошо заговорил о широколицей девушке с серыми, добрыми глазами, о девушке, которая так смущалась при встрече с ним, об отличной телятнице, известной в области. И, увлеченный своими словами, он вдруг понял, что сам не знал до сих пор, сколько жалости и душевной теплоты скопилось в его груди к Арише, которую он по-настоящему разглядел только отсюда, издалека. Нашедшая свое счастье Дарья развязывала ему руки. Он благодарно взглянул на нее и почувствовал, что холодок неприязни, возникший в нем по отношению к Федору Васильевичу, прошел и сменился чувством благодарности за радушие.

Дарья слушала его, держась за руку мужа, и в глазах ее Алексей видел непритворное внимание.

— Росла она сиротой. На ее руках остались маленькие братья, сестры. Надо всех было вырастить, выходить, поставить на ноги. За этим делом она и припоздала выйти замуж. Потому вот и выбрала... такого старика.

— Ну, какой же ты старик! — серьезно сказала Дарья. — Надо бы поглядеть на твою жену.

— Вот соберемся к ним летом на отпуск, там и разглядим. Как думаешь-то? — сказал ей Федор Васильевич.

— Возьмем да и съездим, — машинально ответила Дарья и посмотрела на Алексея. — Ты, Алеша, хороший. С тобой всякая женщина может жить. Но уж родня твоя!

Она со вздохом покачала головой, и лицо ее стало таким же холодным, каким оно запомнилось Алексею в последний день пребывания Дарьи в его семье. «Почему же ты ушла от меня?» — хотелось сказать ему, но он понял, что это объяснение сейчас совсем не нужно.

Он вскочил с места.

— Что же я сижу? Ведь я вам деревенских гостинцев привез! Не хотел много брать, понимаете, — говорил он, развязывая мешок, — трудно везти, то да се. Так нет, супруга моя настояла: «Вези да и только. У нас этого много, а там, глядишь, наши гостинцы будут в диковину».

Алексей вынул из мешка свиной окорок, замороженного поросенка и несколько кругов масла. Он подавал гостинцы Дарье и все боялся, что она заглянет ему в глаза и догадается о том, что все эти гостинцы он вез, чтобы справиться с ней свою свадьбу.

За столом они просидели дотемна. Дарья собиралась было стелить Алексею на диване постель, но он решительно остановил ее:

— У меня ночевка есть. Родных чорт знает сколько. Еще обидятся.



— А живут они далеко? — спросил Федор Васильевич.

— Да тут... Как ее, улицу эту... Ну, одним словом, недалеко от вокзала.

Взяв с него обещание непременно прийти завтра, Федор Васильевич отпустил руку Алексея.

— Только без подвоха! Понял? А то и дружбу врозь! Как в свой дом, без стеснения.

— Ну, ясно. Чего стесняться... — бормотал Алексей, порываясь к двери.

Дарья вышла его проводить. Над глухим переулком лежало дымчатое, просвеченное многими огнями небо. Где-то за крышами домов громыхали трамваи, и тревожно выла сирена автомобиля.

Алексей надвинул шапку на уши и переложил баул из руки в руку. Дарья стояла на порожке. На голове ее был наброшен большой пуховый платок. Алексей ловил синий свет ее глаз, и ему казалось, что Дарью он видел во сне, а сейчас перед ним стояла чужая, странно привлекательная женщина.

— Ну, до свиданья! Иди, а то озябнешь. — Алексею хотелось скорее уйти, он боялся, что опоздает и на этот раз упустит свое счастье.

Он протянул Дарье руку. Она сжала его пальцы и вдруг откинула от лица платок, подтянула голову Алексея и зашептала ему в ухо:

— Жену люби, Алеша. И никого не слушай...

— Да-да, ну, ясно. Кого же мне любить, как не ее...

Из Москвы Алексей выехал в ту же ночь. От станции до колхоза его подвезли попут-

чики. Он соскочил с саней у околицы и прямо прошел к скотным дворам.

Ариша встретила его на пороге лаборатории. Она была в белом переднике и в чистой повязке. Увидев Алексея, Ариша испуганно прижала руки к груди. Он же, поставив у ног баул, протянул Арише обе руки:

— Вот я и приехал,— тихо сказал он.— Скоро? О тебе соскучился, Ариша... Без тебя у меня никого нет на свете...

Он прикусил губу и склонил голову.

Ариша сделала шаг назад.

— Ой, что ты, Алексей Михайлович!

Она отвернулась в сторону и тихо заплакала.

## Сергей Дымов

### 1

Отец Сергея, Семен, погиб года четыре тому назад через колодезь.

Ему раньше всех на поселке припилась желтая прудовая вода, он раскопал в лесном овраге ключик, на том самом месте, где сейчас находился замечательный колодезь с железобетонной, вместо сруба, трубой.

Когда в вырытой Семеном яме забил родник, правление колхоза получило от земельного отдела средства на оборудование колодца.

Семен вез из города бетонные трубы, когда случилось с ним несчастье. На спуске в овраг лошади вдруг понесли, и трубы, порвав веревочные крепы, с грохотом пошли вниз. Лошади шарахнулись в сторону, сбили с ног Семена, и он, не успев крикнуть, очутился под многопудовой тяжестью труб.

Скоро весть о несчастье достигла поселка, оттуда пестрым хвостом побежал народ.

Сергей попал в лес после всех. Он сел на мокрую землю около отца и долго смотрел на его позеленевшее, испачканное землей и кровью

лицо. Около него тесным кругом стояли мужики, среди них были и братья.— Иван и Василий. Братья откровенно плакали, растирая кулаками слезы.

Потом мужики немного отошли, и Степан Студеный громко сказал:

— Вот она наша водичка какая. Навек напил-ся, Семен Алексеевич...

Сергей посмотрел в лисьи неуловимые глаза Студеного, на его аккуратно подстриженную бороду и с трудом разомкнул сухие губы:

— Видно, так тому делу быть...

Он с горечью вспомнил, что всю жизнь отец отбивался от богатых и наглых, вроде Студеного, соседей, всю жизнь хлопотал по мирским делам, получая за это одни язвительные насмешки. Вот и теперь колодцем будет пользоваться весь колхоз, а кто помог отцу, кто сказал в правлении, чтобы в помощь ему выделили не подростков, а взрослых людей, при которых это несчастье не произошло бы?

Притеснения соседей и заставили Семена выселиться с отцовской усадьбы на новый поселок. Сергею тогда очень хотелось остаться на старом корне, ему жаль было покинуть сад с густым черемушником, свой огород, с конца которого открывался вид на широкую долину Дона, но мысль остаться тут без отца была страшнее новых мест.

Они выселились на епифанский большак, за которым стеной стоял темный Аннин лес. Места здесь были просторные. Вокруг поселка лежали тучные помещичьи земли, лес изобиловал травой, грибами и, главное, сушняком, вольной топкой. Да и не скучно было на новом месте: большаком

то и дело двигались обозы, пробегали грузовые автомобили.

При жеребьевке — Семен перед выселением выделил из семьи Сергея — ему досталась крайняя усадьба, около неглубокой протоки, в которой веснами буйно цвели донник и ромашка. Из бокового окна избы видны были далекие шпили городских колоколен, и близость города пробуждала надежду на лучшую жизнь.

Однако вольные земли не изменили жизни Семена и его сыновей. Они попрежнему ходили на заработки, еле-еле оправдывая наемную запашку земли. На поселке нашлись свои мироеды и насмешники, и если Семен тяжелым кулаком отпугивал от себя вредных людей, то Сергей был совершенно беззащитен. Он уродился в мать, — был небольшого роста, сутул и слегка заплетал на ходу ногами; синие глаза на его большеносом с узким подбородком лице светились испугом и готовностью услужить.

— Малосилен ты, малый, — не раз говаривал Сергею отец. — Детей не прокормишь. Зря мы тебя женили.

— Не пужай ты его, мужик, — вступалась мать. — Он хоть и мелковат росточком, а на работе вынослив. Опять же и баба у него вострая. Как-нибудь век свой перебыются. Все-то не такие?

— Баба хороша при мужике, — отвечал Семен и, не скрывая презрения, отвертывался от сына.

Жена Сергея, Катерина, в самом деле была и приглядна и ловка. Управляясь по дому, она успевала раза два в день сбегать в лес за дровами, указывала мужу на срочное дело, и все

это у нее выходило весело, с улыбочкой, словно никакая работа ей не была трудна и неловкость робкого мужа доставляла ей удовольствие. Зимой, когда Сергей уходил с пилой на заработки, Катерина по целым ночам жгла огонь, шила на людей рубашки, ватные пиджаки.

Сергей высоко ценил свою жену, втайне гордился ею, но иногда, глядя на поблекшее лицо Катерины, он начинал испуганно думать, что и он проживет свой век, подобно отцу: смолоду нужда не даст проглянуть на белый свет, а вот вырастут ребятишки — пора и собираться под горемычную ветелку, на старый погост.

И когда начались разговоры о колхозе, Сергей совсем не воодушевился. Не читая газет, он плохо понимал путанные речи, которыми были полны ежедневные собрания. Иногда ему думалось, что ради этих разговоров и скликают людей в красный уголок. По-своему ему думалось, что и в колхозе разговором сыт не будешь, а вот что уняли богачей и земля будет опахиваться в один круг — это для него было уж прямой выгодой. Поэтому он и не побоялся записаться в колхоз.

— Плакать не придется? — осторожно, плохо скрывая злобу, спросил его Дмитрий Кривихин, который много лет пахал землю Сергея.

— Об чем это? — добродушно ответил Сергей. — Пускай уж плачет Кривихина кобыла, которая на моей пашне огрехи рисовала.

Его ответ вызвал всеобщее одобрение, и Сергей чувствовал себя героем дня. А вечером Катерина осторожно спросила его:

— А не зря ты в это дело-то влез? Может, еще подумать?

Сергей посмотрел на жену и почувствовал в груди тесноту.

— Люди-то пишутся...

— Пишутся из своей выгоды. Нас все равно в распорядители не постаноят.

— Да я и не полезу.

— Ну, а горб-то ломать и без колхоза можно. Нагубишь сейчас сильным людям, а вдруг да колхоз развалится? Тогда нам вовсе житья не будет.

Сергей понял, что совершил ошибку. Сбитый женой с толку, он теперь не находил ничего хорошего в колхозных делах. Ему не нравилось, что во главе колхоза поставили говоруна Гака — лупоглазого человека, всю жизнь мотавшегося между Москвой и деревней. Мало хорошего было и в том, что около Гака крутились четыре брата Зайцевы и Студеный, в доме которого поместили правление, и опять вошел в люди Володя Ленивый, высокоумный пьяница, пристроившийся в правление счетоводом.

Сергей посещал частые собрания и все ждал случая, чтобы вычеркнуть свою фамилию из списка.

Но вот из-за леса взмахнули теплые ветры, и на дорожках вдоль опушки обнаружились заячьи следы. Собрания сразу прекратились. В кузнице теперь с утра до сумерек рдел кровавый глаз горна — там чинили плуги, бороны, шиновали колеса. В просторной риге богачей Хохловых сортировали семенное зерно. Работа сразу помирила Сергея с колхозом, он уже не жалел о том, что не успел выписаться.

При разбивке людей на работы Гак перегля-

нулся со Студеным и улыбнулся, обнажив большие с черными пятнами зубы.

— А тебя, Семеныч, мы назначили начальником... над кнутом.— Студеный мелко рассмеялся и подтолкнул Гака локтем.— Верно-верно! Пахарем хотим тебя сделать. Согласен?

У Сергея от волнения зачесались ладони.

— Дык я что ж? Могу и по этому делу.

— Справишься?

— Не знаю, как считаете вы, а я, думается, любую работу чередом справлю.

— Тогда так и запишем.

В тот же день Сергей отобрал себе пару лошадей, приладил на них хомуты и всякую сбрую. Потом облюбовал себе плужок, отвел его в уголок сарая и прикрыл соломой.

## 2

Так стал Сергей старшим пахарем первой полевой бригады. К работе он относился добросовестно, лошадей берег, и каждый год урожай в первой бригаде был значительно выше, чем во второй. Многие из соседей Сергея, даже братья его, давно охладели к колхозу, опять стали ходить на заработки, пробавляя семьи покупным хлебом, но он все держался, всю весну и лето, до поздней осени ходил на колхозные работы и только зимой урывал месяц-другой и ходил с пилой по ближним местам.

Катерина все смелее и настойчивее говорила о больших заработках на стороне, с завистью перечисляла покупки и приобретения у невесток.



— Тут разве столько наживешь? — сокрушенно говорила она, взглядывая на обносившихся и босых ребят.—Только слава, что хлеб свой едим. Вот тебе и весь колхоз. А люди-то не зевают. Весной самая пилка, тысячи зарабатывают, а ты за полтора трудодня поле весь день меряешь. Разве это расчет?

— Нам на расчет глядеть нечего,— пробовал возразить Сергей.—Если от колхоза сейчас отобьешься, когда он небогат, то уж после, когда привалит богатство, нашего брата уж не примут. Подайся взад! Поняла?

— Когда-то еще будет твое богатство-то! А тут люди сейчас золотеют.

Катерина стояла на своем, но однажды Сергей решительно сказал ей:

— В чем хочешь тебя уважу, а тут ты меня не сбивай. И давай прикроем всякие прения.

Сергей не вмешивался в дела правления, сторонился от всяких кляуз и никогда не перечил бригадиру и председателю колхоза. Но в этом году у него неожиданно получилась стычка с бригадиром, в их спор вмешался Гак, и после весеннего сева Сергея вдруг перестали назначать в наряды.

Началось дело с того, что Сергей, вопреки приказу бригадира, опустил у плужков лемеха на полные двадцать сантиметров. Сделал он это потому, что приметы весны предвещали сухолетие, и только глубокая вспашка могла предохранить посевы от выгорания.

Бригадир, один из братьев Зайцевых, горячий и самолюбивый мужик, накричал на Сергея, потом пожаловался председателю:

— Лошадей порежет нам этот пахарь!

Свирепо округлив глаза, Гак сказал Сергею:  
— Тебе доверили работу, а самоуправничать не разрешали! Какое ты полное право имеешь бригадиру навстречу идти? Кто отвечает за работу, ты или он?

— Ну, коли моей ответственности нет, снимайте меня со звена, а против своего соображения делать не буду. Мне не три годочка, с ваше-то понимаю. Снимай без короткого!

— Это что же, подрыв трудовой дисциплины? Хорошо. Это мы учтем.

— Ничего я не подрываю, а поступаю по правилам. Бригадир мне хлеба не даст, если мы его в поле не вырастим. Понятно?

Сергей закончил посевную, а когда увидел, что стычка с Гаком не прошла ему даром, он ушел в Шатуру, на торфоразработки.

Уйти он просто, все, может быть, и улеглось бы, но получилось так, что и в этот раз Сергей встал поперек намерениям правления колхоза, чем еще пуще озлобил Гака.

Дело в том, что с Шатуры убежало несколько завербованных еще зимою колхозников. Правление отнеслось к их возвращению прохладно, скорее даже обрадовалось лишним рабочим рукам. И когда в колхоз приехал председатель сельсовета с требованием немедленно выслать рабочих на место, Гак попытался увильнуть:

— Шесть пар рук прорыва в Шатуре не заткнут, а нам, в колхозе, они очень пригодятся.

Тогда с места встал Сергей и, задыхаясь от волнения, громко сказал:

— Иван Николаев! Скажи мне по правде, вот в присутствии власти, — будет мне работа или я в кулак все лето буду дуть? Так вот, если вы

с бригадиром не оставите свои капризы и будете меня теснить, то я согласен пойти на прорыв в Шатуру.

Подкрепленный взглядом председателя сельсовета, Сергей сказал спокойнее:

— Только один я не пойду, а, как член сельского совета, возьму с собой и беглецов. Усы тебе, Иван Николаев, раздувать словно бы и не с чего. Работы в колхозе сейчас немного, а прорыв в промышленности мы тоже приветствовать не должны.

В Шатуре Сергей пробыл до конца августа. Работал он на резке торфа. В бригаду попали молодые ребята, дружные, — они закончили программу с превышением, и Сергей, как старший звена, получил при расчете сто рублей премии, ботинки и метров шестьдесят мануфактуры. Неплохо заработали и остальные колхозники, но по их взглядам Сергей чувствовал, что они не простили ему вынужденного отрыва от дома и то, что он был над ними старшим и получил больше них.

Пока жили в бараках, Сергей не обращал внимания на косые взгляды земляков. Но стоило ему получить расчет и уложить в дорогу свой сундучок, у него сразу заскребло на сердце, вспомнилось, что в колхозе его ждет незавершенная распря с Гаком, и ребята в дороге могут намять ему бока.

Когда собравшиеся в дорогу земляки выпили и начали приставать к нему с требованием петь с ними песни, Сергей потихоньку вынес свой сундучок из барака, прямым ходом прошел на станцию и сел в первый поезд, шедший на Москву.

Елецкий поезд вышел из Москвы ночью. В

вагонах было тесно, и Сергей всю ночь качался на своем шатком сундучке. К утру народ поубавился, Сергей пристроился к окошку и блаженно вытянул вдоль лавочки затекшие ноги.

Мимо окна бежали предосенне пустые поля. Накатанные дороги блестели на солнце; освещенные избы дальних сел были ослепительно белы и четки, словно вырезанные из бумаги. Кое-где на полях стояли разбитые ветрами копны ржи; в одном месте распущенное пастухами стадо околачивало угол нескошенного овсяного поля. Неубранный хлеб вызывал в Сергее раздражение. Он взволнованно потирал руки, вскакивал с места и прилегал лбом к холодному стеклу. Рядом с ним свешивал голову с верхней полки большой, бородатый мужик. При виде неубранных полей мужик ворочался на скользких досках и так выразительно кряхтел, что Сергей преисполнился к нему дружеским чувством.

Потом, вслед за зелеными долинами с игрушечными мостиками через сухие русла, пробежали полевые колхозные гумна с золотистыми холмами скирдов. Между скирдами пылили молотилки, и в сторону селений тянулись груженные мешками фуры.

При виде этих хозяйственно-трогательных картин у Сергея теплело в груди, он плотнее усаживался на лавке и на ум ему приходил свой колхоз: убран ли там хлеб, во-время ли отсеялись и кто пахал под озимое его участок. Эти мысли вызывали в нем нетерпение скорее увидеть все своими глазами, и оттого ему казалось, что поезд идет очень тихо и чересчур много делает лишних остановок.

Почти перед тем, как сойти с поезда, Сергей крепко задремал, и ему приснился покойник-отец, и приснился до того явственно, что Сергею стало страшно, и он подумал, что сон этот не к добру.

3

Домой Сергей пришел в сумерках.

На порожах сеней его встретила Катерина. Она помогла ему снять с плеч сундук и прошла с ним в сени. По осунувшемуся лицу жены Сергей заключил, что в доме не совсем ладно. Он обежал взглядом столпившихся около него детей: Манюшка, Санька, Лиза. В стекла окна стучал кулачками сидевший на подоконнике Коля. Значит, дети все целы.

Сергей перешагнул порог избы. От только что вымытого пола в избе было свежо; чистая скатерть придавала избе праздничный вид.

Сергей сел на скамейку и начал снимать сапоги. Взглянув за времянку-печь, что стояла около задней лавки, он почувствовал, как странное ощущение пустоты наполнило его с темен до пят.

Катерина перехватила его взгляд, как-то по-особенному, словно ее толкнули в подбородок, вскинула голову и встала к чулану, заложив руки за спину.

Не размотав с ног портянок, Сергей шагнул в сторону жены:

— А где же машинка?

Притихшие было около гостинцев дети вдруг заговорили, перебивая друг друга.

Сергей обвел глазами избу и вдруг напустился на детей:

— Да замолчите вы, за-ради господ бога! Ну, скройтесь сейчас же, чтобы глаза мои вас не видели!

И, прихлопнув за вышедшими ребятишками дверь, Сергей повернулся к Катерине:

— Что случилось тут, рассказывай!

Катерина коротко взглянула на него и словно теперь только поняла, что Сергей с дороги смертно устал. Она отошла от чулана и тихо сказала:

— Размотай портянки-то. Ходишь, будто петух мохноногий...

И пока Сергей разувался, она рассказала ему о том, как придирался к ней бригадир, как назначал ее на самые трудные работы, и председатель все грозил ей штрафом, и как, наконец, сельсовет наложил на них штраф в полтораста рублей за дорожную повинность.

— Это за дорогу?— Сергей ударил кулаком по коленке.— А кто ж им в прошлом годе вымостил мостовую и выкопал для столбов телефонных ямы? Ведь я им вперед за три года отработал!

— Стало быть, не отработал. Машинку-то уж на торги назначили.

И Катерина, мелко вздрагивая сухими плечами, уткнулась в голубой выгоревший фартук.

До сих пор Сергей был убежден, что Катерина умнее его. Без совета с нею он не ступил шага, и все в доме делалось по ее воле. Правда, Катерина умела поставить себя так, что соседи считали Сергея в доме старшим. Когда к

ней обращались с какой-либо просьбой, она отвечала:

— Не знаю, девушка, что сам скажет. Ведь он у меня во-какой характерный. Сережа, — обращалась она к нему, — ну как, велишь, что ли?

Он понимал ее игру. Сделав строгое лицо, он после некоторого раздумья выражал свою волю. Случалось, что его решение шло вразрез с намерениями Катерины. Оставшись с ним наедине, она укоризненно говорила:

— И-и, бякнул! Ты бы сообразил сперва головой-то!

— Да ведь...

— Уж я глазами-то тебе и так, и эдак. А ты как немой. Чуть должен.

И это казалось Сергею в порядке вещей: какая же жена не учит своего мужа?

Слезы Катерины толкнули Сергея в грудь. Он вдруг понял, что покойник-отец был прав: жена хороша при сильном муже.

Сергей дотронулся до платка Катерины и твердо сказал:

— Ну, будет тебе. Будет. Слышишь, кому говорят-то? Лучше покорми меня, а с делами я сам разберусь. Зови ребят. Эй, вы, босая команда! Обедать! Ну, живым манером!

Утром, проводив в стадо корову, Сергей направился в сельсовет.

У него не было никакого плана. Больше всего ему, пожалуй, хотелось скрыться из поселка и тем оттянуть неизбежную встречу с Гаком. Да и не был он еще уверен в самом себе: он боялся, что бригадир и председатель запугают его, и он малодушно откажется от борьбы за

машинку, за спокойствие Катерины, за свое право жить и не бояться завтрашнего дня.

Дорога пересекала яровое поле и скрывалась в березовом лесу. По обеим сторонам дороги тянулись проса. Над тяжелыми кистями победно качались белые султаны отцветшего осота. Над полем часто вскрикивали кобчики, а ближе к лесу облетывалась стая скворцов.

Лесная опушка пахла грибами. Поредевшие вершины деревьев густо опалила позолота ранних утренников, лес казался просторным, и стволы берез были белее обычного.

Скоро лесная дорога пошла под уклон, впереди мелькнул голубой серпок реки и донесло глухой шум падающей с мельничной плотины воды.

Под самой кручью нависшей над водой горы сидели сонные рыбаки. От мельницы, стоящей на той стороне, сюда било сильное течение, и на быстрине всегда хорошо брала рыба. На большом четырехугольном камне сидел рыжий человек в картузе с оторванным козырьком и пил из горлышка бутылки молоко. Этого рыбака Сергей не раз встречал на городском базаре; звали его Мукденом за бесконечные и путанные рассказы о японской войне.

Мукден недружелюбно оглядел Сергея и чуть дотронулся до своего изуродованного козырька.

— Какая же теперь рыба? — спросил Сергей. — Умный рыбак, небось, и рыбы наелся и досыта наработался.

— Без тебя-то тут не знают! — ответил Мукден и разлил молоко на подол рубахи.

— Много ты знаешь! И сам осовел, как налим, и плетушка пустая. Тоже ловец!



— А ты ловец?

Мукден поставил недопитую бутылку на камень и взялся за конец удилица. Сергей предусмотрительно удалился.

Каменистой плотиной он прошел на мельницу. Здесь, под замкнутым с двух сторон навесом, тесно стояли подводы. На крутом возу, откровенно раскидав ноги, спала женщина. Седые от мучной пыли мужики сидели на колесных втулках, без всякого аппетита курили и плевали под ноги, где между неплотными бревнами настила бежала чешуйчатая вода.

Глядя на испачканных мукой горячих помольщиков, таскавших из-под жерновов полные мешки, Сергей опять, как в лесу, наполнился невыразимым чувством радости, такой большой и свободной, что она не умещалась в слова. Он громко поздоровался с помольцами и вышел на тихий, будто мгновенно оглохший, простор мельничного двора.

В сельсовете его встретила дежурный исполнитель — средних лет женщина, вязавшая на порожках кружева.

— Ты, друг, к начальству? — спросила она Сергея. — Вот и ошибся. На совещание уехали. Приедут — что будет к вечеру.

Сергей растерянно потоптался. При мысли, что придется ни с чем возвращаться домой, ему стало так грустно, что впору заплакать. Женщина сочувственно посмотрела на него и, прихватив губами крючок, осторожно разгладила на коленях работу.

— А уж если у тебя дело очень строгое, то зайди к Ефросинье Павловне, к учительнице. Она, как ревизионная комиссия, во всех делах

силу имеет. Ты сам-то с Большой дороги? Так вот, устрянь с ней вместе, она никак туда в ваши края собиралась. Вон, кажется, уж тронулась...

Сергей посмотрел за угол дома. Широким лугом, искрещенным золотистыми полосами дорог, шла высокая женщина.

Он отошел к сторонке, подтянулся и провел пальцем по скользкому ремню.

4

Ефросинья Павловна шагала широко, и Сергей с трудом держался с ней вровень. Низко повязанная белой косынкой, она слегка склоняла голову, и тогда на шее у нее золотым гребешком вспыхивал светлый пушок. Сергею видно было маленькое ухо с родинкой на самой мочке, выпуклый серый глаз под низко опущенной бровью.

«Вот это бабочка!» — думал Сергей и боялся, что Ефросинья Павловна может узнать его мысли.

Но она, не повертывая в его сторону головы, коротко спрашивала:

— Неужели пьянствуют? И часто это они сшибаются?

— Несудом пьют! — Сергей говорил громко и часто отрубал правой рукой. — Почесть каждый божий день стыкаются. А на какие такие средства, никто не знает. И не признают ни одну живую душу. Чуть кто пикнет не на их руку, они его сейчас на заметку и начинают жать. Нужна человеку, к примеру, лошадь —

всем дают, а ему погоди! Раздают ли поросят со свинофермы — всем есть, а этому нехватило. А на работу иди передом! Чуть замялся где-нибудь, сейчас тебя выведут на собрание как срывщика и лодыря.

— Верно ли это?

— Раз я смотрю вам в глаза, значит, верно! — ответил Сергей. — Врать я себе никогда не позволю. Потому можно судить, что в колхозе земля первая по всему району, люди, думается, на работу жадны, — а ведь не цветем. Оттого и не цветем, что эта вредная эгоизма тащит из колхоза, как с барского двора, и все на пропой души. Тащут, все мы видим, а молчим. Разве это мыслимо?

Он говорил то, что не один раз говорилось соседями, обсуждалось в колхозе всеми вплоть до малых детей, но сейчас все его слова получили иное значение, и ему вдруг стало горько и стыдно за свой колхоз, за трусливых и малодушных соседей, за самого себя. И чего с ним никогда не бывало, — он понял, что между неустройством его личной жизни и колхозными делами есть прямая связь.

— Конечно, я не с тем намерением рассказал, чтобы открыто обличить этих людей. Мне самого себя обелить бы только.

— А почему не обличать? — Ефросинья Павловна резко обернулась к Сергею.

Сергей вытер похолодевший лоб.

— Напролом итти у меня энергии нехватает. Забьют! А зря трепаться — не в моем характере.

— Нет, надо итти прямо!

— Это вам со стороны легко говорить. А

если дело не поправишь? Их надо бить наверняка, под корень. Не сумеешь, тогда мне, мало-сильному человеку, говори вечную память. Сомнут! С меня пока хватит и одной машинки.

— Ну, так не скоро ты получишь свою машинку...

— Почему же такое?

Угроза лишиться навсегда машинки, которую с таким трудом удалось купить и которая была гордостью Катерины, радовала ее заработком — подавила в нем всякий интерес к беседе.

Ефросинья Павловна начала задавать ему вопросы о том, бывают ли в колхозе районные работники, что они говорят по поводу безобразий. Сергей отвечал ей вяло:

— Запоены и закормлены. Не иначе. Так, значит, я машинку свою не отстараю?

На развилке дорог учительница протянула Сергею руку. Он вяло пожал ее тонкие пальцы и надвинул кепку на самые глаза.

Остаток дня он просидел дома. Катерина с Манюшкой работали на молотилке, а меньшие ребятишки, слышно, играли, перекликаясь, на лесной опушке. Он ходил по избе, и шаги его гулко отдавались за печным бором.

Сознание собственной правоты мало утешало Сергея. Он уже представлял себе, как его скоро обделят соломой, как урежут его долю и в капусте, а о трудоднях по договору с торфоразработками лучше не вспоминать.

«Отдам я им этот штраф и выручу машинку!» — решил он наконец.

И опять ему вспомнился покойник-отец, представилось, как он укоризненно покачает головой, готовый сказать своим сильным и негибким

голосом: «Ворона ты, малый! Нет в тебе никакой самостоятельности!»

Когда пришла Катерина, Сергей сел за стол и вытер губы ладонью.

— Придется, баба, покоряться. Не выйдет наше дело.

— И в совете ничем не помогли?— опустив глаза, спросила Катерина.

— Чего же там могут нам сказать? У них песня одна, они сладились. Хотя я и не видел никого. Попалась мне эта новая учительница, ну, и блаже б я с ней не говорил.

— Или наболтал лишнее?

— Не так чтобы наболтал, а словечка два можно бы и не говорить...

— Теперь дойдет до наших правителей...

— Вот и вот-то! Подложит эта дамочка под меня мину.

Он почувствовал, что Катерина очень расстроилась, и не знал, чем ее успокоить. Когда она застывала кружкой в пустом ведре, Сергей вскочил и взялся за дужку ведра.

На пути от колодца он неожиданно столкнулся с Гаком. Тот нес на плече двухметровый угольник, которым измерял в поле дневную выработку пахарей. Рядом с Гаком, сверкая седой бороды, шел Студеный.

— А, купец!— протянул Студеный, прищуривая хитрые глаза.— Привалил?

От растерянности Сергей остановился и опустил ведро на землю.

— Стало быть, так,— сдержанно ответил он и, не зная, куда девать глаза, поплевал на ладони и снова взялся за дужки ведер. В первый раз за всю жизнь он почувствовал обиду от-

того, что эти люди не сочли нужным честью с ним поздороваться, погнушались протянуть ему руку, ему, Сергею Дымову, которому сам начальник разработок, первоклассный инженер, вынес благодарность за ударную работу.

— Не растрес свои тысячи-то?— Студеный беззвучно засмеялся и загородил ему дорогу.

Сергей опять поставил ведра.

Гак оглядел его с головы до ног и внушительно сказал:

— Не спеши.

— Мне спешить некуда,— ответил Сергей и почувствовал, как у него передернуло губы.— Вот вы тут большой спешкой охвачены...

— Ты уж не пытай его,— вмешался Студеный.— Мы лучше обмоем его пол-литром и хватит. Это будет дело. Верно, торфяной ударник?

— Тебе? Пол-литра? — Сергей почувствовал, как внутри него что-то со скрипом оборвалось. Он отхаркнулся и приблизился к Студеному:— Ты все никак не налопаешься, паук серый?

На его крик от домов потянулись люди.

Скосив глаза на сторону, Гак грозно прошипел:

— Ты потише! Слышишь?

Сухие скулы Гака сделались каменно-мертвыми.

Сергей оттолкнул его руку и, чувствуя, что теперь ему все равно, еще громче выкрикнул:

— Не страшай меня! Понял? Не страшай! Я тебя ни капли не боюсь! Каплюжники и расхитители! Все вам мало? Думаете всю массу на испуг взять? Смотрите, не ошибитесь!

Народ замкнул их в кольцо. Озираясь на сто-

роны, Гак прошел вперед. Студеный мгновенно замешался в толпе.

Придя домой, Сергей поставил ведра и, не раздеваясь, лег в сенях на кровать.

Ночью на вопрос Катерины он хрипло ответил:

— Теперь либо я вас всех погублю, либо им когти обломаю!

Катерина увидела на его лице слезы.

Она поправила под его головой подушку и стащила с ног пыльные сапоги.

э

В жизни Сергея это были самые трудные дни. Он сидел дома без дела и не знал, к чему приложить свои тяжелые и непослушные руки. Катерине он говорил храбро:

— Теперь уж я назад не отступлю. До высшей власти дойду, а своего добьюсь. И не в машинке тут дело! Чорт с ней и с машинкой! Правда дорога! В наше время, видно, в сторонке не простоишь.

Он каждое утро собирался пойти в город, но все откладывал. Наконец решился. Проводив детей в школу, он надел пиджак и долго выбирал себе в сенях палку. Когда он вошел в избу с кленовым подождком, под окном загромыхала телега. Скоро в избу ввалился Селифан, возчик из кооперации, большеголовый, начисто обритый старик. Он внес коричневый колпак швейной машинки.

Сергей растерянно принял от Селифана его ношу. Тот прищурил один глаз и загадочно потряхнул бритой головой:

— Ну, брат, задал ты им задачу!

— Кому!

— Деду моему! Не знаешь? Ну, бывай здоров. Я свое дело исполнил.

И, наступая на край длинного фартука, Се-лифан скрылся за дверью.

«Вот это влип в игру!»— подумал Сергей, провожая взглядом возчика. Около машинки уже хлопотал маленький Колька. Он взбирался на колпак верхом, бил по нему кулачками и заливался смехом.

Скоро с огородов пришла Катерина. Она от двери вскинула взгляд на Кольку, и ее усталое лицо озарилось улыбкой:

— Ой, батюшки! Откуда же это?

— Миколай-угодник прислал, — ответил Сер-гей.— Прямо как по щучьему повелению.

Катерина сбросила безрукавку, подошла к ма-шинке. Ловкими руками она подняла колпак и развертела колесо.

У Сергея резко защемило веки.

Когда волнение слегка улеглось, Сергей спро-сил жену:

— Неужели эти враги спокаялись? Как ты думаешь?

— Не подвох ли какой? Может, ждут, что ты теперь будешь делать?

— Что же, придется бросить всю канитель, по-твоему?

Катерина по плечи скрылась в устье печки. В складки ее сарафана тыкался губами рыжий телок. Предвкушая теплое пойло, телок семен-нил ногами и неистово крутил грязным хво-стом. Вытащив чугунок, Катерина оттолкнула тел-ка коленом и повернулась к корыту.



— И то сказать, свое получили, можно и притихнуть...

— А если в делах копать начнут, меня спросят беспременно. «Учительнице говорил?»— Говорил.

— Тянули тебя за язык-то!

Упрек жены напомнил Сергею недавние мысли.

— Нет! Буду ломить до конца. Теперь если трусишь, тебя каждая паршивая скотина за толкает.

— Ну, гляди сам...

После обеда в окно постучал сам бригадир и позвал Сергея косить просо. Сергей с радостью снял с колышка запыленный крюк.

Над полем плыли тяжелые, опаленные золотом низкого солнца, облака. Просо было редкое, оно легко срезалось и, шурша метелкой, ложилось в тонкий ряд.

Сергей шел почти в самом хвосте длинного ряда косцов. Косьба была легкая, и он, свободно взмахивая крюком, миролюбиво думал, что хорошо бы теперь забыть всю распрю, спокойно, как ни в чем не бывало, встретиться с Гаком и даже без большой обиды выслушать его насмешку. «Ну раз человек не может без этого! Да чорт с ним, пускай поскалозубничает!»

Заходя на последний ряд, Сергей увидел на дороге серого райисполкомовского мерина, запряженного в тележку. На высоком сиденье тележки, рядом с мужчиной в светлой кепке, сидела Ефросинья Павловна. Заметив Сергея, учительница положила руку на вожжи и, когда мерин остановился, прыгнула с тележки.

Движимый желанием поскорее узнать, почему ему возвратили машинку и отчего подобрили его недруги, Сергей пошел навстречу Ефросинье Павловне.

— Ну, как она, жизнь-то? — весело спросила она. Улыбка делала лицо ее добрым и простым.

Сергей улыбнулся ей, как давней приятельнице:

— Словно как начинает улучшаться.

— С каких это пор?

— С нонешнего дня. Я уж сказал своей бабе, — мол, как по щучьему повелению...

— Ну, а газету читал?

— Какую газету?

— Хорош! О тебе целая статья напечатана, а ты глядишь, как новорожденный.

Сергей смахнул с губ улыбку и смущенно посмотрел в серые глаза Ефросиньи Павловны.

— Да ведь... как я неграмотный...

— Серьезно?

Ефросинья Павловна взяла Сергея под руку. На лице ее темной тенью пробежало недовольство.

— Неужели ты неграмотный?

— На себя мне лгать нету выгоды.

— Ну, это ни на что не похоже! Боевой, толковый человек ты... ай-ай-ай!

Они скоро догнали тележку. Человек в светлой кепке, сухоскулый, с черными висячими усами, коротко пожал Сергею руку. Ефросинья Павловна указала глазами на Сергея:

— Вот этот самый товарищ.

Усатый человек пошел с ними рядом.

Сергей очень уважал ученых людей, но в его представлении их ученость никак не связывалась с обычной книжкой, со школой, которую оканчивали многие его сверстники. Он искренно восхищался умением людей быстро считать, разбираться в любых бумагах, но совершенно искренно считал, что все свое умение люди получают каким-то им одним ведомым путем и во всяком случае никак не через школу. Он рассуждал так: сколько в селе раньше людей получали из школы свидетельства, а чем они лучше него, ходившего в школу только полторы недели? Они так же, как и он, возились в земле, так же меряли дальние пути и проселки в поисках заработка — и много ли толку в том, что иногда, отрывая на курево полоску бумаги, они прочтут написанное на листке отрывного календаря или ухватят глазом несколько слов из газеты?

В последние годы взгляд Сергея на школу несколько изменился. Он видел, как деревенская молодежь «потянулась в люди», и на поселке уже насчитывали двух своих учителей, одного агронома и зоотехника. Ученость людей он расценивал главным образом с той стороны, что они навсегда могут бросить крестьянство, могут хорошо одеваться и иметь дорогие и соблазнительные вещи вроде патефонов, велосипедов или радиоприемников.

— Учись, Машутка! — говорил он своей старшей дочери, перешедшей в седьмой класс. — Может, тебе в жизни повезет не так, как твоему отцу.

Неграмотностью своей Сергей объяснял всю трудность своей жизни. Когда стали привлекать неграмотных в школу для взрослых, Сергей пошел туда с большой охотой, но скоро убедился в полной своей неспособности.

В сельском совете, на районных собраниях его не раз спрашивали:

— Неужели ты даже читать не можешь?

— Ни аза,— отвечал он, прикрывая смешком горечь своей неполноценности.

— И не стыдно тебе?

— Стыдно, и говорить нечего. Старался я было около своих ребятишек понавыкнуть, все буквы скрозь изучил, а вот складывать никак не могу, хоть убей. Домовой ее ведает! Память, что ли, ослабла...

Однажды инструктор райисполкома, молодой, голубоглазый парень, достал книжку и раскрыл ее перед Сергеем.

— Быть не может, чтобы такой смысленый колхозник не одолел слогов! Читай! Какая первая буква?

Сергей окинул взглядом страницу. Наверху была нарисована большая распустившая крылья птица, а под ней стоял короткий ряд букв.

— О,— сказал он и вытер ладонью губы.

— Верно! Дальше!

— Ры...

— Так. Следующая!

— Е...

— Очень хорошо! И последняя?

— Лы, — смело выговорил Сергей.

— Что же вместе вышло?

Сергей сжал кулаки, поставил их на край

стола, но сейчас же ослаб весь и растерянно посмотрел на картинку.

— Родимец ее знает, что вышло-то... Журавль, что ли...

Инструктор отвел взгляд в сторону и захлопнул книжку.

И теперь, сидя на собрании, Сергей никак не мог понять, как простой газетный лист мог возыметь такую силу? Почему притих Гак и около стола уж не грудятся братья Зайцевы, горлопаны, решавшие все колхозные дела? Что заставило Студеного сесть в дальний угол и замкнуть в себе насмешки, которые сражали, как ножом, противников?

Статью прочитал вслух комсомолец-избач. От волнения он глотал концы слов и все время дергал себя за свисавший со лба хохол.

Сергей никогда так отчетливо не понимал прочитанного, как в этот раз. Статья была складная, как песня. Он ловил на себе взгляды соседей, в этих взглядах была неведомая доселе почтительность, словно его выбрали церковным старостой.

Собрание вышло очень шумным. Несколько раз брала слово Ефросинья Павловна. Она сильно напирала на правление колхоза, требовала немедленных перевыборов; Гаку недвусмысленно пригрозила судом. Гак держался смирно, во всем соглашался с учительницей, любезно заглядывал в глаза приехавшему товарищу и даже раза два улыбнулся Сергею.

После, когда стали выбирать комиссию по проверке работы правления и назвали Сергея, он встал и попросил слова.

Собрание чрезвычайно возбудило колхозников.

Годами сдерживаемые чувства вдруг прорвались наружу, тысячи несправедливостей, обид припомнились Гаку и его ближним. Сергей видел, что люди преодолели страх и готовы были идти до конца.

— Молодец, Сережка! Так и надо!

— В кулак шептать надоело! Мы работай, а чорт иваныч тобой распоряжается!

— Нам нужно всем таким быть, как Сергей. Тогда никакого безобразия у нас не было бы.

Гак вдруг очутился между Сергеем и Ефросиньей Павловной. Он проникновенно прижимал руку к груди:

— О чем же и я всегда говорил? Надо критиковать смело, без боязни. Без критики со стороны масс мы чорт знает куда можем поворотить. И я Сергея Семеновича хвалю. Честно говорю — хвалю! Молодец! Раз от его критики делу польза, нельзя его не приветствовать. — Потом он поворачивался к напиравшим в его сторону колхозникам: — Правильно, товарищи! Один бог без греха, как говорится. И на солнышке пятна есть. На критику мы обижаться не должны. А почему? Потому что она нам поможет лучше работать. И я вам, со своей стороны, должен говорить только спасибо.

— Ах, гнида, как расстиляется! — сказал старый печник Анисим и, плюнув под сапог, вышел за дверь.

Сергей вышел на улицу вместе с Ефросиньей Павловной. Они шли темным переулком. Сквозь черную листву огромных ветел холодно и ярко светила луна. Тени брели рядом с дорогой — четкие, иссиня-темные, с золотыми венчиками от обильно выпавшей на травы росы.

На выходе из переулка Сергей сказал:

— Вот теперь, я чувю, без грамоты мне не обойтись, раз пошел в большие дела.

— Верно,— ответила Ефросинья Павловна.

— И потому есть у меня к вам препокорная просьба. Не разыщите ли вы мне старинную книжечку, по какой раньше учили в школе? Вот по ней я, думается, сразу все пойму. «А ну-ка, Бишка, прочти, что в книжке написано!» Вот вроде Бишки и я буду.

Ефросинья Павловна беззвучно улыбнулась, обнажив плотные, будто сделанные из маслянистой оконной замазки, зубы.

— Называется эта книжка «Родное слово».

— Вот-вот! Она самая! На всю жизнь размилая книжечка стала, хотя я ее и видел на счет два раза.

Прощаясь с Ефросиньей Павловной, Сергей хотел было признаться в том, что он в ней ошибся, что вначале думал о ней плохо, но слова как-то не шли на язык: воспоминание о школьной книжке наполнило грудь ощущением давно забытой легкости, показалось, что жизнь только начинается, и Ефросинья Павловна как раз та самая женщина, о которой он долго и безнадежно думал...

## Мать

### 1

Когда Суржин проезжал по коридору в ванную комнату, ему показалось, что в пролете лестницы он увидел свою мать. Он не успел разглядеть ни лица, ни одежды поднимавшейся по ступенькам женщины. Ему бросился в глаза только мешок из суровой холстины, который та несла подмышкой. У него затеснило в груди, он поднял руку и чуть было не сказал сестре, чтобы она остановила коляску, но сейчас же вздохнул поглубже и усмехнулся.

Мысль, что сюда, из далекой Рязанской области, к нему может приехать старуха-мать, показалась ему нелепой. Но он не переставал думать о матери, вспомнил, что недавно ей исполнилось шестьдесят лет (хоть бы послал поздравительное письмо!) и что она наверное обиделась на него, когда по пути с Дальнего Востока на юг он не заехал к ней.

На обратном пути из ванной Суржин с тревогой осматривался по сторонам. Мимо него проходили няни, больные из других комнат, они здоровались с ним или молча уступали дорогу,



и ничто не нарушало утренней жизни санатория.

«Ну, значит, я ошибся!»—облегченно подумал Суржин и сейчас же услышал певучий, полный заботливого сочувствия голос:

— А то будто! Ну, как же можно? И вовсе!

Суржин в замешательстве оглянулся на сестру:

— Слышите? Так может говорить только моя мамаша.

Она стояла на пороге в комнату дежурной сестры. В черном ватном пиджаке, в старинных полусапожках с отвисшими ушками и в белом ситцевом платке (теплый платок был спущен на плечи), она смотрела на него тем заботливо-испытующим взглядом, каким некогда встречала его на пороге деревенских сеней.

У Суржина странно дернулись губы, он схватился за подлокотники кресла-коляски, сделал попытку привстать, и неизвестно — то ли от радости внезапного свиданья, то ли от злости на непослушность своих ног — на глаза его на вернулись слезы.

— Вон ты какой стал!— почти весело сказала мать, но сейчас же опустила ресницы и, поджав морщинистые губы, поцеловала сына.

— Родимую-то признал?— умиленно расплылась пожилая няня, с которой за минуту до этого разговаривала мать.

— А как же?— ответила она.— Свое-то немыто — белò.

Сестра взглянула на Суржина, с силой толкнула коляску, ввезла ее в комнату и вышла, плотно прикрыв за собою дверь.

Оглядев комнату, мать разделась, расправила плечи и прошла на балкон, громко стуча медными подковками своих полусапожек.

— Простор-то какой тут у тебя!— сказала она, но Суржину ясно было, что мать смущена встречей, и высокий балкон с видом на размахнувшееся в полгоризонта море только повод скрыть волнение и подавить в себе нестерпимое желание громко, по-деревенски, запричитать.

Он смотрел на крепкую, с прямым еще станом, фигуру матери в темном вдовьем наряде и вдруг вспомнил ее молодой, круглолицей— в серебряном кокошнике и в малиновом пышном сарафане; она шла тогда в праздничной толпе молодых подруг муравчатым рубезом, пела песню, и при каждом шаге вздрагивали ее полные щеки...

— Мама!— позвал он.— Садись поближе и рассказывай. Как это ты надумала приехать? С кем ехала?

— Одна,— строго, будто обидевшись, ответила она.— Что ж я, маленькая?

— Да ведь далеко,— смутился Суржин.— Могла бы и запутаться.

— А язык на что?

Искося взглядывая на мать, Суржин видел на лице ее выражение сдержанной радости и деловой сухости: она еще не знала, как отнесутся к ее появлению. Мать улыбалась одними губами, обнажая желтоватые зубы. Глаза у нее были попрежнему темные и молодые, только поредевшие брови да густая сеть морщин выдавали ее годы.

— Ехала-ехала и приехала,— со вздохом сказала она.— Думаю, сын не хочет к матери на

глаза показаться, так не миновать матери самой в дальний путь-дорогу...

— Ну, вот!— смущенно протянул Суржин.— Совсем это не так.

— Так или не так, а у матери все сердце неспокойно. Думаю, придется увидеться, нет ли. А тут сны в голову полезли. Вот и решилась. Ну, как ты тут?

— Гляди сама.

— И так гляжу.— Она придвинула стул и наклонилась над коленями сына.— Так тебя и возят в этой таратайке?

— Так и возят.

— Неужели ноги твои навек погибли?

— Врачи говорят, что поражение нервов имеет временный характер.

— Э-эх, врачи-грачи!— Мать встала и прошлась по комнате. Суржину опять подумалось, что стук ее полусапожек слышен во всех этажах санатория.

— Хорошо, хоть так отделался. Как ни жить — все сладко.

— Кому как.

— Всем едино. Земля-то еще надоест.

Потом мать подошла к нему и засучила рукав. Она заставила Суржина повернуться, задрала на его спине рубашку и долго щупала жесткими пальцами поясницу.

— Место тут квелое,— сказала мать, причмокнув губами.— Стукнуло-то, знать, легко, а отозвалось крепко. А уж ты и худ, мое дитячко! Или еду душа не принимает?

Эти вопросы и бесцеремонное разглядывание смущали Суржина, он чувствовал себя не капи-

таном Суржиным, а прежним Сережкой, покорным заботливым рукам матери.

Когда она опустила рубашку, он, желая перевести разговор на другое, спросил:

— Ну, как тебе здесь нравится?

— Хорошо,— равнодушно ответила мать.— Вот только земля неудобная. Все горы и камень.

— А море?

— Что ж море? Вода и вода.

Она разгладила на коленях юбку. На ее темном, с широким и плоским ногтем пальце сверкнуло серебряное кольцо.

— Все еще цело?— удивился Суржин.

— Кольцо-то? Что ж ему сделается? Это еще отец твой, упокойник, купил мне. Молодая была — вот он и потешал меня.

2

По просьбе Суржина мать поместили во флигеле, с нянями.

Вечером она снова пришла к сыну, позевывая после короткого сна, и лицо у нее было по-домашнему простое, без той напряженности, которую придавала ему первая встреча. Мать прошлась по комнате, потрогала шелковые занавеси. Занавеси то рывались в комнату, то выплывали наружу, надувались и хлопали, как паруса. Теперь шаги матери были неслышны: она сменила тяжелые полусапожки на мягкие вязаные коты с красными завязками. В котях она сразу стала ниже ростом и выглядела старушкой.

Суржину очень хотелось услышать от матери, как она отнеслась к известию о его ранении, что говорят о нем в деревне, но она упорно обходила эту тему.

— В Севастополь-то когда приехала, днем?

— Какой тебе днем! Утром. Сошла я с поезда, мне и говорят: «Садись в автобус, а то ждать долго придется». Как же я уеду, не поглядевши города? Тут,—говорю,— моего мужа дед воевал, пешком тысячи верст сюда за смертью шел. Мне хоть по тем камушкам пройти,—все сердцу радость будет. Вот и пошла я. Сначала все берегом шла,—вода зеленая да чистая,—потом на гору поднялась.

— На Малахов курган?

— Должно быть, он. Там еще медный вояка стоит. Взошла я, села на скамеечку, да и думаю: вот тут наши люди кровь проливали, за Расею страдали. Так она, жизнь-то, и идет... Потом взошла в большой дом. Поднялась на лестницу, гляжу,—ну, как живые нарисованы люди. Положила я свою сумочку на пол, села на нее, и проняла меня слеза. Промсргаюсь немножко, увижу, как солдатики бегут, и опять зальюсь: «Куда, мол, вы бежите, чего вы себе добиваетесь?» А как догляжу до того места, где наши отступают, так бы сама и прыгнула туда.

Мать развела плечи и так выразительно выбросила в сторону кулак, что Суржин смущенно опустил глаза.

— Посидела я там не знаю сколько,—продолжала мать,—и пошла назад, к станции. Гляжу, автобусов уж нет, а стоят легкие автомобили. «До моего места не пойдут?»—спраши-

ваю. «Пойдут,— говорят,— только поездка до-рого будет стоить».

— Ты и испугалась?

Мать окинула Суржина коротким взглядом.

— Слушай, до чего дело дойдет! Стою я так, а уж двое какие-то, должно быть, муж с женой, в автомобиль узлы складывают. Шáфер руки вытирает, собирается садиться на место. Я и говорю: «Вот, мол, сын с японцами воевал, сам товарищ Калинин орден ему дал, а мать жди да провожай чужие автомобили...»

Голову Суржина охватило жаром.

— Вот это ты зря...

— А что ж мне не сказать, раз это правда истинная? Сказала, и не понапрасному. Сейчас этот человек бросил свои узлы и ко мне. И спрашивает, и за руку берет. «Да как фамилия твоего геройского сына, да где он находится?» Прямо, как горохом меня обсыпал. Потом взял под локоть и посадил рядом с шáфером. И мы в одну минуточку докатили.

— Но деньги ты, конечно, заплатила?

— Хотела я узелок свой достать, да где там! Он мне и слова не дал выговорить.

Суржин тяжело взглянул на мать. А мать, не встречаясь с ним взглядом, спокойно снимала с юбки приставшие пушинки:

— Вот, думаю, и славно. Свои-то деньги на другое дело пригодятся.

— Ну, уж это совсем безобразие!— сквозь зубы выговорил Суржин.

— И никакого безобразия!— смело сказала мать.— Авось, не в карман залезла. Раз хочет человек услужить — пускай. Он, может, этим себя потешил.

За окном меркнул закат. Солнце давно ушло за горы, и только в серебряной дали моря да в высоком небе еще чувствовалось обилие света. Слева, выше гранитной черты мола, показался почтовый пароход, шедший от кавказских берегов.

В этот час Суржин имел обыкновение смотреть на море. Его увлекала вечерняя изменчивость красок. Привал парохода, оживление на обычно унылой косе мола, шум погрузки как-то приобщали его к быстро мелькающей жизни людей, и он начинал верить, что его прикованность к креслу — дело нескольких дней, что скоро и он будет так же сбегать по сходам, волноваться за свой багаж и ловить загадочные, как надежда и обещание, взгляды стоящих на палубе женщин.

— Как в деревне живут? — спросил он мать.

— Что ж тебе о деревне говорить? — снисходительно ответила та. — Теперь ты от нее отстал и людей там половину не знаешь. Живут, в колхозе управляют. Я и сама там не все время бываю.

— У Ивана живешь?

— И у Ивана, и у прочих. Степан тоже к себе зовет. К тебе приехала бы, живи ты поближе.

И мать скупно рассказала о том, что Иван, работающий техником дорожного строительства, недружен с женой, сильно зашибает водочкой, у них каждый год рождаются дети, и денег нехватает на жизнь.

— Ты бы и жила у него всегда, чем в деревне одной-то скучать, — сказал Суржин. — Ребятишек выхаживала бы и деньгами помогала.

Мать вдруг поджала губы и отвернулась к окну.

— Нет уж, деньги мне самой нужны. Без денег человек бездельник. Со своей копеечкой я всем мила. И внучат побалую, и куплю, что нужно. А ребят за матерей выхаживать не стану. С меня своих хватит. Я вона каких соколов вырастила, людям на зависть. Теперь мне у снох и зятьев к стенкам присланиваться бесчестно.

Она откровенно обиделась, и Суржин понимал, что мать права. Но вместе с тем ему неприятна была ее холодная рассудительность. Наверное так же вот холодно она говорит с братьями о нем, и сюда, может, приехала не ради свиданья с ним, а по какому-то тайному расчету.

Они долго молчали. Потом мать подошла к нему и положила ему на голову руку. Ее твердые пальцы пробежали по волосам. Суржин посмотрел ей в лицо благодарными глазами: так мать ласкала его в трудные минуты, когда ему казалось, что все силы растрочены и цели своей ему не добиться.

### 3

В эту ночь Суржин плохо спал. В глухой предутренний час он проснулся словно от толчка. В окно, золотя края занавесей, светила большая и спокойная луна. Равномерный шум моря был похож на шелест березовых роц в той стране, которая исчезла вместе со сновидением.



Дышать было трудно. Суржину захотелось встать с постели, пробежать по холодному полу к распахнутому окну и вздохнуть во всю силу легких. Он сбросил с плеч простыню, протер глаза, и эти движения положили грань между реальностью и сновидением: Суржин сразу вспомнил, что встать он не сможет и что к нему вчера приехала мать.

Сказать, что он не любил мать и ее приезд был ему неприятен, он не мог. И вместе с тем при мысли о матери у него было чувство большой неловкости, словно без нее он вел себя скверно и теперь должен перед ней отчитываться.

Внешне он ничем не проявлял своей подавленности: был весел, добродушно посмеивался над легко смущавшейся сестрой, с воодушевлением спорил с поэтом Двоеруковым, который медленно таял от запущенного туберкулеза и часто впадал в мрачное настроение; о своей работе в Красной армии Суржин говорил так, словно находился в отпуску и в ближайшее время вернется в свою часть; он набрал себе в библиотеке работы историков военного искусства, делал выписки и собирался поступить в Академию.

Но все это было только для окружающих. Оставаясь один, он не стыдился признаться самому себе, что минутами его охватывало незнакомое прежде малодушие, и, доказывая Двоерукову, что в советскую эпоху нужны всякие люди и всем найдется место для приложения их труда, он спорил против самого себя, отвечал на свои мысли, одолевавшие его в одиночестве.

Ему часто писали товарищи из части. Тон их писем был веселый, они тщательно обходили

вопрос о его положении, сообщали свои новости, передавали смешные и грустные истории о людях, которых он близко знал. Он отвечал им в том же тоне, небрежно говорил о своей болезни, обещал скоро приехать, отлично сознавая, что все написанное — ложь и написано с единственной целью не огорчать друзей.

Ему не хотелось ни читать, ни думать. Он часами неподвижно сидел перед окном, не видя ни моря, ни голубого мыса и не отвечая на вопросы заходивших к нему нянь.

— О чем это вы задумались?— обращалась к нему сестра, кладя холодную и шелковистую ладонь ему на лоб.

Он поднимал на нее глаза и медленно, словно губы его от раздумий становились твердыми, улыбался:

— Смотрю на вашу лужу.

— Опять вы про то же!

Когда Суржин в первый раз назвал море лужей, сестра вспыхнула и горячо запротестовала: «Ой, что вы! Море так прекрасно. Если бы не море, тогда и жить...» Ее волнение было так непосредственно, что Суржину доставляло удовольствие почти ежедневно говорить о море в самом пренебрежительном тоне. Он видел, что смущение сестры переходило в раздражение, но не прекращал своей забавы.

Он уже начал привыкать к санаторию и к своим двойственным мыслям; его занимала растерянность окружающих, которые не знали — говорит ли он серьезно или находит предлог для шутки. И вдруг — мать! При ней нельзя было прикидываться веселым — она одним взглядом могла разгадать его ложь, нельзя быть за-

думчивым — потому что она сейчас же потребует объяснить ей причину, и в уголках ее настороженных и умных глаз появится тот огонек насмешки, который когда-то приводил в ярость покойника-отца, любившего пофантазировать.

Мать была права: в последние годы он редко вспоминал о ней и лишь механически высылал ей ежемесячно деньги. Не раз он посылал перевод без единого слова на отрывном купоне: все, казалось, некогда, все спешка.

Чтобы отвлечь себя от этих мыслей, Суржин переводил взгляд на стеклянную дверь в коридор. Там немощно, не одолевая ширившегося света утра, горела лампочка. Иногда по оливковой стене проплывала густая бесформенная тень. В комнату заглядывало плоское лицо дежурной няни. За стеной кто-то бредил во сне.

Когда в комнату забежал прохладный, как струя воды, рассветный ветер и под окнами прогремела колесами невидимая повозка, Суржин позвонил няне, она подала ему умыться и помогла перебраться в кресло.

#### 4

Ранним утром мать вышла из ворот санатория. Она постояла у парапета набережной, посмотрела на ленивые волнишки, потом повернулась лицом к горам.

В этот час горы были голубые, и, словно подчеркивая их высоту и отдаленность, в котловине висело сиреневое облако.

На набережной царили дворники. Длинными метелками они вздымали седые хвосты пыли, потом собирали сметенные кучи мусора в железные совки и торжественно, выпятив животы, несли эти совки к морю, как утреннюю жертву.

Мелко ступая в своих мягких котах, мать прошла набережную, пересекла приморский скверик с полумертвыми от пыли пальмами и, миновав мостик через каменистое ложе высохшей речки, поднялась к базарной площади.

Ее видели еще во многих местах: на пристани, у высокогорных санаториев, в татарской деревне, у церкви.

Около рыбаков, дремавших над своими удищами, мать задержалась. Сняв с ног коты и лиловые чулки, она вошла в воду и долго следила, как прозрачные волны миролюбиво окутывали ее ступни с короткими и тупыми пальцами.

— Попадается у вас, кормильцы? — спросила она ближнего рыбака, старого человека с отвисшим носом.

Тот повел плечом, но рта не разомкнул.

— А вот у нас, на Дону, — продолжала мать, не замечая недружелюбия рыбака, — в эту пору хорошо ловится голавль. Такой он в этом месяце бывает прожорливый да дурашливый, что прямо на лету хватает. У меня, бывало, сын, Сережа, фунтов по двадцать за одно утрошко налавливал. Другие зря просидят, а у него все в корзинке трепыхается.

— На кашу? — коротко спросил раззадоренный рыбак.

— На пареную пшеницу, на хлеб, на муку. Тут вся сила не в приманке, а в верном глазе —

где сесть, как закинуть, подсечь. Вот Сережа-то мой был на это большой мастак.

— Умер он, что ли? — спросил рыбак и переменял наживку.

Мать наклонилась и поплескала водой на ноги.

— Говорят, в воде вашей соли много. Так вот, может, ревматизм мой немного утихнет... А сын мой жив, у вас тут лечится. За советскую власть воевал, его и поранили маленько. Орден дали, во всех газетах карточки напечатали. А я ему родная мать.

Рыбак повернулся к ней, раскрыл было рот, но мать, отряхнув ноги, поднялась на набережную.

К церкви она подошла сверху, с гор. Распустив концы платка, она присела на церковной лестнице. Мимо нее раза два прошла высокая старуха со злым и темным лицом.

— Что, может, боишься лестницу уволоку? — пошутила мать.

Старуха боком, словно ожидая удара, приблизилась к лестнице и села на нижнюю ступеньку. Прежде чем выговорить первое слово, она широко раскрыла рот, нижняя челюсть при этом у нее отвисла и в темном провале сверкнули два желтых клыка.

— Ты не к батюшке? — спросила старуха. — Так он нонешний день в отлучке.

— Мне твой батюшка без надобности.

Старуха захлопнула темную пасть и посмотрела на ноги матери злыми глазами.

— У нас, в колхозах, — продолжала мать и, сорвав травинку прихватила ее мягкими губами, — у нас, и то про этих батюшек давно за-

были. Удивление! Такой город чистый да аккуратный, а церковь работает! Наши мужики давно бы тут либо школу, а то и больницу приспособили. А ты что же, раньше монашкой была? То-то, гляжу я, поличье у тебя такое, словно ты сыта, а все еды просишь...

Суржину накрывали обед, когда мать появилась в дверях его комнаты. Увидев ее загоревшее за день лицо, ясные от усталости глаза, он усмехнулся сестре, расставлявшей на столе тарелки.

— Хороша моя родительница, а? Садись, мамаша, будем питаться. Куда это ты спутешествовала?

Клавдия Павловна придвинула матери стул.

— Гуляли? Вот и молодец.

— Хорош молодец, хоть и старец,— ответила мать и принялась вытирать вспотевшее лицо, шею.

— Нет, верно, мамаша,— поддержал Суржин Клавдию Павловну.— Ты, тьфу-тьфу!— совсем молодец еще.

— Спасибо, сынок! — Голос матери дрогнул и веки налились краской юбиды.

Клавдия Павловна неловко обошла вокруг стола и скрылась в коридоре.

Суржин недовольно опустил глаза.

— Над старухой-матерью смеяться нечего. Да еще и при чужом человеке.

— Ну, вот ты какая! — протянул Суржин.— Никто над тобой не насмехался. Я похвалиться хотел.

— И хвалиться матерью нечего. Теперь меня не переделаешь. Хороша ли, плоха, все мать, не чужая баба.

Мать сняла с головы платок. Волосы у нее были закручены в крошечный узелок и,— что было удивительно,— не потеряли своего темного цвета.

— Неудобная в вашем городе жизнь, посмотрела я,— заговорила она.— Не надо ни моря, ни этих гор. Базар — одна дороговизна. Лук, и тот против нашего Данкова в три раза дороже. Яйца маленькие, чумазые, а просят восемь рублей. Прямо стыда у тутошних людей нету. Приценяешься к товару, называешь свою цену, а торговец на тебя даже не глядит. Какой же это базар? Он на то и узаконен, чтобы торговаться. На твердые цены есть магазины. Ну, рыба тут, верно, дешева. Только порода-то ее какая-то несоблазнительная. То ли дело наша донская! Язь там, или подлещик. Его берешь из корзинки-то, а он прямо смеется...

Скоро им принесли обед. Мать ела споро и шумно схлебывала с ложки. Суржину было неловко, он старался не смотреть на сестру, то и дело заходившую в комнату. Мать, не замечая его смущения, облизывала тяжелую ложку и, стряхивая крошки хлеба в ладонь, коротким движением бросала их в рот.

— Вот вода тут что хороша — то хороша! Постояла я в ней с полчасика, так прямо от души отлегло. Ноги мои намного стали тверже. А пошла довыше, хотела тутошние поля поглядеть, так и не дошла: камень да горы, буераки да овраги. И деревни тут какие-то необжитые. За порогом у всех — белый свет. Дворишек, и тех не нагородили.

Когда няня унесла пустые тарелки, мать спросила сына:

— Сестра-то к тебе к одному приставлена?

— Ну, зачем же?

— Можно бы и к одному прикрепить. У государства средств хватит.

— Излишняя роскошь.

— Чести больше. Гляжу я на нее, бабочка еще молодая, а живет несладко.

Суржин почувствовал, как горячая волна стыда залила его щеки.

— Откуда ты взяла это?— с большим трудом выговорил он.

— По глазам видно,— невозмутимо ответила мать.— Когда у женщины жизнь складная, у нее глаза веселые. А и то сказать, не наше это дело,— вдруг отрезала она.

Перед вечером к Суржину зашел Двоеруков. Небольшого роста и неимоверно худой, Двоеруков старался показать, что он вполне здоров и беспечен. Он одевался очень тщательно, и галстуки носил только ярких крикливых тонов.

— Предаетесь нирване, капитан? — громко сказал он, ставя в угол свою толстую палку, и сейчас же закашлялся.— Вот чорт! После свежего воздуха непременно приливает... Ну, мое почтение!

Он подал Суржину руку и прошел на балкон. На шелковистой синеве моря резко обозначился его профиль — крупный нос и выступающий вперед подбородок.

— Похоже на мой кашель,— сказал Двоеруков, слегка вскинув голову.— Отойдет, отвалит, а потом подступит снова.

— Это вы о море так образно выражаетесь? Но не упускайте при этом еще одно маленькое качество: титаническую силу и вечный бой с



сушей. Это, пожалуй, посущественнее вашего кашля.

— Об относительных вещах толкуете, капитан,— глухо усмехнулся Двоеруков и потер ладони с каким-то странным стуком, словно играл круглыми костяшками.— В иные минуты кашель может заполнить всю вселенную.

«Какое у него хорошее и значительное лицо»,— подумал Суржин.

Даже теперь, после многих встреч, он все еще не мог примириться с тем, что красивая и мужественная голова Двоерукова соединена с таким хилым и коротким туловищем.

— Партию, капитан?

— Охотно. Ставьте.

Двоеруков придвинул шахматный столик к балконной двери и начал расставлять фигуры.

— Дошло до нас, о, великий капитан, как сказала бы Шехразада,— что к вам нагрянула родительница. Имел честь и удовольствие лицезреть. Завлекательная старушка! Иду я, понимаете, к вашему корпусу, смотрю, около цветников собрание. Стоят женщины, а в центре эдакая Блюменталь-Тамарина, только поплотнее, сидит и крючком кружево вяжет. Без очков, считает мелкие петли, а сама рассказывает. И так это у нее кругло получается, что прямо садись и записывай.

— Да, мамаша ничего. Крута только очень,— ответил Суржин.

— Круто замесишь, вкуснее съешь.— Двоеруков передвинул фигуру, выразительно стукнув ею о доску.— Таких, как вы, дорогой мой, родить и воспитать — дело нешуточное... Да-да... А зажали вы меня, любезнейший. Стоп!—

Двумя пальцами, как клювом, он схватил фигуру, подержал ее в воздухе и медленно поставил на прежнее место. — Увидев вашу родительницу, я всерьез начал уважать вас, Суржин.

— Благодарю.

— Ничего-ничего! Если вы — откровенность за откровенность — скажете, что, только услышав мое овечье дыханье, поверили в мой поэтический талант, уверяю вас, в обморок не упаду.

— Из уважения к вам — вполне согласен.

Обмен любезностями готов был принять более острую форму, когда вошла мать.

— Вы тута? — певуче сказала она и, обойдя гостя, встала за спиной сына. — Хвалят эту игру, а я никакого вкуса в ней не понимаю.

— Вот когда по-моему сядете в лужу, тогда поймете, — желчно сказал Двоеруков и положил своего короля.

— Значит, отходился? — пошутила мать. — Ну, в другой раз своего добьетесь. — И вдруг поставила локти на стол, подперла голову ладонями и близко заглянула в лицо Двоерукову. — А уж до чего ты худ, погляжу я на тебя!

Двоеруков откинулся назад, как от удара, и хрустнул пальцами. Суржин в смущении начал укладывать в коробку фигуры.

— И давно в тебе эта хворь завелась? — продолжала мать, не меняя позы. — Ты чего подкашливаешь? — обернулась она к сыну. — Об нужном деле можно и без титл говорить. Человеку жить бы да радоваться, а он никакого вида не имеет. А что я тебе скажу, хороший человек? — Мать с деловым видом уселась на

стул и провела ладонями по крышке стола. — Народ мы, конечно, темный, а бывает, что и хорошее присоветуем. Не полечиться ли тебе попростому? Были примеры, когда все доктора руки опускали, а человек вдруг вставал на ноги...

В серых глазах Двоерукова сверкнула искра заинтересованности. Он выхватил из кармана портсигар и достал папиросу.

— Ну-ну! Любопытно!

— А вот куришь ты и нукаешь на старого человека зря,— укоризненно сказала мать.

Суржин почувствовал облегчение. Он хотел было продолжить шутку матери, но она коротким движением руки остановила его:

— Простые средства иногда превышают всякие дорогие лекарства. Это я верно говорю. У нас вот, вроде тебя, один человек начал и начал вянуть. Его и по докторам — куда-куда не возили — облегчения все нет и нет. Уж стали вешнюю воду ждать. А тут один человек и надумил: «Попытайте,— говорит,— овсом покормить». Его сперва насмех подняли. Человек посинел, в поту купается, а он про овес заговорил! А потом раздумались: дай, попробуем. Хуже не будет, а попытка не беда. И стали кормить. Напарят овса, жижку отожмут в стакан, разбавят пополам молоком парным, да так три раза в день по полному стакану. Попил человек неделю, другую, а к вешней воде, глядь, он на заваленку вышел, под веселые капли. Дальше да больше, и отходился человек. Сейчас ему уж побольше шестидесяти, а он с молодыми вровень сено косит. Не веришь?

Двоеруков замял папиросу и нервно про-

шелся по комнате. Мать следила за ним тихими, чуть-чуть прищуренными глазами.

— Чорт возьми! Занятно!— Двоеруков встал против балконной двери и вскуделил свои жидкие, тусклые волосы.— А если попробовать? Как вы полагаете, капитан?

Он сказал это шутливым тоном, но по движению его плеч, по странному блеску помолодевших глаз Суржин увидел, что совет матери пал на добрую почву.

— Ты, мама, у докторов хлеб отбить можешь!— пошутил он.

— Докторам тоже дела хватит,— небрежно отмахнулась от него мать.— А у тебя, что же, семья есть?— обратилась она к Двоерукову.— И ты стихи пишешь? Это тоже дело хорошее. Для этого надо тоже иметь голову настоящую.

Двоеруков все быстрее двигался по комнате, бросая на мать друга короткие взгляды. Суржин насторожился, боясь, что мать неосторожным словом обидит вспыльчивого поэта.

— Для нашей жизни и стихи надобны,— продолжала мать, не замечая выразительных взглядов сына.— На октябрьском празднике один стих до того мне понравился, что я после нашла книжку и сама раза три прочитала...

— Ты разве выучилась?— удивился Суржин.

— Около внучат понавыкла,— через плечо улыбнулась ему мать.— Теперь стала хорошо разбирать. Вот только рукописное не пойму никак. Так вот про стихи, бишь, я... Сижую, читаю и думаю: какое же сердце хорошее у человека и где же он подыскал такие трогательные слова!

И, запинаясь, обрубая концы слов, мать прочитала четыре начальные строки стихотворения.

Суржину показалось, что сразу в комнате стало нестерпимо душно. В волнении он поднес к глазам пальцы и мелко-мелко зашевелил ими. В углу с громом упала палка. Задыхаясь от кашля, Двоеруков бросился в угол, поставил было палку, но сейчас же схватил снова и исчез за дверью.

Мать вышла на балкон и долго стояла там, повернув лицо в сторону красного сигнального фонаря, вспыхнувшего на вышке мола.

На пароходе низко завывала сирена. Потом вой сорвался с паровой мачты и, угасая, пробежал по лиловой долине и прилег где-то у лысых, ободранных ветрами горных вершин.

Когда мать вошла в комнату, Суржин спросил ее:

— Ты знала, что стихи эти написаны Двоеруковым?

— Ну, а как же? Я уж тут повторила их, у сестры взяла книжку.

— Расстроила ты его...

— Это ему утеха. Жизни в нем осталось малая кроха.

— Зачем же наговорили ему про овес?

— Без надежды человеку помирать трудно. С надеждой он и смерти своей не услышит.

## 5

Мать жила в санатории уже шестой день. Каждое утро она уходила из санатория. Все интересовало ее — и южные сады, и горные пасеки,

и виноградники. За шесть дней ее узнали все, начиная от главного врача до истопников, все встречали ее улыбкой и с удовольствием слушали ее занятные рассказы о деревне, о том, как она выращивала детей и как дралась с богачами, не любившими ее за острый язык и за непокорность.

— Отдыхала бы. Чего ноги зря околачиваешь?— пробовал остановить кипучую деятельность матери Суржин.

— Дома отдохну. А то спросят дома: «Была?» — Была. «А что видела?» Вот и получится у меня затмение.

Она почернела за эти дни, стала суше и легче на ходу. Ее подвижность заражала Суржина, он все чаще привставал с кресла, даже пробовал, опираясь на подлокотники, сделать шаг. Правда, держался при этом он больше на руках, но чувствовал, что стоит только сделать еще одно маленькое усилие, и ноги снова станут послушны и легко понесут ослабевшее в покойном кресле тело.

Старший врач, седой и коренастый, сохранивший молодцеватую выправку, во время обхода стал посматривать на Суржина повеселевшими глазами, словно он уже знал что-то важное и радостное, но сообщить об этом окружающим не пришел срок.

— С японцами сражался, молодой человек!— ответил врач, когда Суржин намекнул ему на стройную выправку.— Да-с! Видел горестные страдания доблестного русского солдата, которые вы теперь блестяще искупаете. Да-с! Ну, а какие же у вас обстоятельства, тезка? Скоро танцевать будем?

— Тут воля ваша, Сергей Петрович. Я — хоть сейчас...

— Мамаша тут на меня каждый день насеждает. Повернитесь-ка! Дайте тыл!

— Не привык к такому положению в отношении противника,—пошутил Суржин.

— Но я-то вам, надеюсь, не противник?— врач шевельнул колючими бровями, продолжая ощупывать поясницу Суржина.— М-да, стоящая у вас старушенция. Убеждает меня в том, что вы болеете не по правилу. «Кровь,— говорит,— в роду Суржиных горячая, не могут остынуть ноги, раз весь человек в сохранности». Вот и поспорь с ней. Не старуха, а патриарх.

О матери говорили так много, что однажды Суржин шутливо сказал ей:

— Можно подумать, что ты тоже на Хасане сражалась.

Мать, не задумываясь, ответила:

— Сражаться хоть и не сражалась, а честь мне есть небольшая.

— Уж это несправедливо!

— Там как хочешь считай, а жизнь гласит по-нашему.

Раза два заходил Двоеруков. Он был молчалив, сидел мало. В последний раз он, уже прошившись с Суржиным, вдруг повернулся от двери и, заслонивши рот широкополой шляпой, сказал:

— Работать, понимаете, начал. Пишу, как чорт. Перед смертью, что ли...

— Чепуха! Как здоровье-то?— спросил Суржин, и ему стыдно было глядеть в большие и грустные глаза человека, которому осталось жить считанные дни.

— Знаете, много лучше стало,— не замечая смущения Суржина, сказал Двоеруков.— Пробую средство, предложенное вашей родительницей. Кажется, дело верное.

— Конечно, верное!— поспешил согласиться Суржин.— Вот поправлюсь и я, махнем мы с вами на Амур. Верно?

В глазах Двоерукова вспыхнули золотые, теплые искры. Он улыбнулся, показав сухие и желтые зубы, как-то странно двинул плечом и, сгорбившись, исчез за дверью.

В этот день мать появилась в санатории раньше обычного. Снимая с головы теплый платок,— утро было пасмурное, и с моря дул порывистый ветер,— она прямо от двери спросила сына:

— Командирская форма у тебя с собой?

— Зачем это она тебе понадобилась?

— Надо тебе припарадиться.

Она сама достала из чемодана новую гимнастерку, погладила ладонью орден, выразительно глянув на сына:

— Пионеров повстречала я. Увидали меня и — «Бабушка, бабушка!» Верно,— говорю,— бабушка, только вы еще не знаете какая. Вы вот,— говорю,— гуляете, в трубу дудите, в войну, небось, играете, а рядом с вами живет хасанский командир. Об этом, мол, вы голову ломаете? Ну, и стала я им про тебя рассказывать. Сначала они уши растопырили, а потом пристали ко мне без короткого: «Сведи нас, да и только!»

— Ну, это ты зря,— поморщился Суржин.

— Совсем не зря!— ответила мать, раскладывая на спинке кресла синие командирские брюки.— Они большими станут и воевать им



придется, так надо дух в них поднимать за благое время. Беда тебе не велика. Поговоришь с ними, про себя, про товарищей расскажешь,— так они всю жизнь это помнить будут. Молодых надо учить, Сереженька. В каждом ребенке большой человек закладывается. Что теперь положишь, то в них до смерти цело будет. А ты принарядись как следует. В этом халате да в распахнутом вороте геройского немного. Увидят они тебя в этом наряде—и враз охладеют. Скажут, какой же это герой, когда у него туфли все облезли и с ног сваливаются? Надо, чтобы все при форме было. Надевай-надевай, не упирайся!

Она хлопотала с таким воодушевлением, что у Суржина не нашлось сил для сопротивления. Он побрился, вытерся одеколоном, с трудом всунул ноги в сапоги и надел гимнастерку.

— Вот, совсем иной (коленкор!— полюбовалась на него мать.— Сразу видно, что настоящий командир.— И вдруг свела брови, откровенно заплакала:— А ведь я тебя таким еще и не видела!

Суржину было неловко. Он чувствовал себя так, словно приготовился позировать, а фотограф задержался.

Пионеров впустила мать. Их было пятеро— две девочки и три мальчика. Переступив порог, дети задержались. Самый передовой, круглолицый и курчавый мальчик, вскинул на Суржина испуганные глаза и попятился, тесня товарищей.

Суржин с силой повернул колеса своей коляски и приблизился к детям:

— Прошу, товарищи!

Он протянул вперед руки. И дети обступили

его, касаясь плеч, рукавов, коленей. Кто-то передал ему большой букет красных роз. Кудрявый мальчик держался за палец Суржина и порывисто вздыхал.

— Ты главный? — спросил его Суржин.

— Ага, — ответил тот и вдруг сделал строгое лицо, опустил руки и оглянулся на товарищей. Суржин потрепал его по плечу.

— Небось, собираешься сказать: «От имени нашего отряда...»

Он вскинул руку и с такой серьезностью начал приветствие, что дети переглянулись и заулыбались друг другу.

— Угадал я? Ну, и отлично. Будем считать официальную часть оконченной. Давайте знакомиться. Меня величают Сергеем Петровичем. Мамашу мою Дарьей Дмитриевной. А тебя? Тебя?

Мать стояла сзади детей. Она оглядывала их головы и бережно проводила руками по их плечам.

Рассказ о событиях на Хасане возник как-то сам собой. Сначала дети спрашивали, Суржин коротко отвечал. Потом его ответы стали все длиннее, все обстоятельнее, и дети перестали задавать вопросы, широко раскрытыми глазами смотрели ему в рот, незаметно для себя повторяя его движения.

Мать сидела в сторонке.

Рассказ утомил Суржина. Закрыв ладонью глаза, он долго сидел молча.

— Вы товарища Сталина видели? — после долгих колебаний спросил Боря, поощряемый товарищами.

— Нет, — ответил Суржин.

— А товарища Ворошилова?

— Климентия Ефремовича видел несколько раз.

— Ну, что? — ликующе обернулся Боря к товарищам. — Тоже спорили!

— Ну, вот что, спорщики, — мать встала и подошла к детям, — я вам гостинчик приготовила.

И, отмахиваясь от детей, она достала из гардероба большой пакет и опрокинула его над столом. Из пакета посыпались крупные апельсины.

Когда дети ушли, Суржин спросил мать:

— Какая у тебя была цель... устраивать эту встречу?

Крепко сжав челюсти, мать с минуту смотрела на сына.

— Не к душе мне, что ты все один и один, — наконец сказала она. — Чего доброго, можно и заплесневеть. А потом одной-то мне ты так про себя не рассказал бы.

— Только и всего?

— Что ж тебе еще?

Мать смотрела на него веселыми глазами.

— Теперь я про тебя в деревне расскажу. Очень молодой народ тобой интересуется. Как пришли газеты с твоим портретом, у нас в деревне началось такое, что я сроду не видала. В наш колхоз народ со всех мест съехался. И на автомобилях, и на лошадях, на велосипедах. В триоцкую ярмарку такого многолюдства не бывало. Ну, и за меня принялись. Сейчас это подошла к дому машина, повезли меня в клуб. И меня в президиум, и за обеденный стол. Все передом. Не знала я, куда глаза девать. И вот

с этого дня колхоз наш под твоим именем значится. Так и на доске, что над правлением висит, написано: «Колхоз капитана Суржина».

Лицо матери сияло хорошей улыбкой, и щеки ее были мокры.

Суржин испуганно подумал, что мать долго не остановит слез, и у него не было никакого предложения прервать этот утомительный разговор. Но мать вдруг обмахнула лицо углом фартука и сказала просто, будто совсем и не плакала:

— Ну, давай разоблачаться.

Она сняла с него гимнастерку, сложила ее и, укладывая в чемодан, оглянулась. На губах ее появилась загадочная улыбка.

— Одного я не сказала тебе, беспамятная. Аннушка поклон прислала.

Суржин вскинул глаза на мать, но сейчас же перевел взгляд на окно. Ему показалось, что ветер вдруг стал горячее и суше.

А мать, склонившись над чемоданом, говорила, отвечая на невысказанный вопрос сына:

— Какая же Аннушка? Одна у нас и есть. Назарова. Зашла ко мне утром до света. «Передай,— говорит,— поклон Сергею Петровичу и поздравь его от моего лица». А сама горит-то, горит-то, как маков цвет.

Суржин хрустнул пальцами и, преодолевая сухость в горле, коротко спросил:

— Она... что же делает?

Ему хотелось спросить — какая теперь стала Аннушка, все та же ли у нее большая светлая коса и не вышла ли Аннушка замуж, но не повернулся язык. И опять мать поразила его своей догадливостью.

— Эта девушка,— сказала она, опускаясь на

колени и принимаясь снимать с ног его сапоги,— эта девушка замуж не поторопится. Живет с большим разбором. Сейчас окончила на учительницу, и такая стала подбористая да умная,— есть кого послушать и есть на что поглядеть.

С глаз Суржина упала пелена. Он вдруг увидел, что матери трудно снять сапоги и от напряжения у нее на шее набухли лиловые вены. Он поспешно расправил плечи и наклонился к своим ногам.

— Подожди... Ну-ка, я сам попробую.

Сапог легко сошел с ноги. Мать распрямилась и, вытирая о фартук руки, одобрительно посмотрела на сына:

— Силенка-то, видно, есть?

— Найдется.

— Ну, вот и славно.

## 6

Шесть лет назад Суржин уезжал из дома в свою часть.

Тогда тоже была весна, и в широкой долине, по верху которой шла дорога, стояли густые, спелые травы.

Он тогда качался в телеге, изредка оглядываясь на крыши села, которые с каждым шагом лошади словно приседали за вершины дубовой околицы. Ему было и грустно покидать родные места, и в то же время хотелось поскорее доехать до станции, сесть в поезд и мчаться мимо чужих перелесков, широких полей и сел с журавлями колодцев, около которых, казалось, вечно стояли одни и те же женщины и из-под ла-

дней провожали взглядами поезд; мимо зеркально-тихих прудов, разрезанных оранжевой косой заката, с голым мужиком, в тени береговых ветелок купающим лошадь...

Солнце скрылось за темной грядой леса; в долину пал голубой, зыбкий туман.

Дорожкой, пролегающей по самому дну долины, по пояс утопая в травах, шла какая-то девушка. Суржин различал золотистую кесу, переброшенную через плечо на грудь, белую кофточку с красной вышивкой по вороту. Девушка шла споро, словно плыла по зеленому морю трав. В одной руке она держала небольшой букетик цветов.

Суржину стало грустно. Ему вдруг захотелось знать, куда спешит девушка, о чем думает и кому несет свой маленький букет.

Когда съехали на мост, и дорога вытянулась в гору, Суржин прыгнул с телеги и пошел пешком. На середине горы, где тропинка сливалась с дорогой, он столкнулся с девушкой.

То была Назарова Аннушка.

Во время отпуска он несколько раз мельком видел ее в толпе девочек-подростков и запомнил ее синие, широко расставленные глаза, большой покатый лоб с золотистым венчиком густых, курчавившихся волос и полные губы.

— Кому нарвала?— спросил он и нескладно коснулся руки Аннушки.— И спешишь куда?

Она подняла на него круглые и прозрачные глаза.

— Хочешь, тебе отдам...

Она протянула руку. Суржин взял цветы и не знал, что делать дальше, что сказать. Он искренно обрадовался, когда с вершины подь-

ема ему засвистел возчик. Прижимая к груди цветы, он протянул Аннушке руку.

— Зовет. Надо подчиняться. Ну, до свиданья...  
Анюта.

Она опустила потемневшие глаза и холодными пальцами еле коснулась его руки.

— Счастливо,— сказала она и вдруг сорвалась с места, пересекла дорогу и скрылась на лесной опушке. Суржин запомнил только, как светлая коса колотилась ю плечи девушки.

...Воспоминание о том вечере, об увядших цветах, которые он с сожалением выбросил из окна вагона, о широко расставленных и недоуменных девичьих глазах вдруг ожило и обогатилось такими подробностями, которые не бросились в глаза в то время.

Впервые за время болезни Суржин запел, чем очень удивил сестру.

— Что это у вас случилось?

Он посмотрел на нее и только сейчас заметил, что Клавдия Павловна молода, хороша собой, у нее тонкое, утомленное лицо и серые, окруженные дымкой усталости глаза.

Встретив его взгляд, Клавдия Павловна опустила ресницы, и на ее впалых щеках загорелся румянец.

— Нам пора в ванну,—тихо, с усилием говорила она.

Пока в ванну с шумом падала вода, Клавдия Павловна сняла с Суржина халат. Суржин смотрел через ее плечо. На противоположной стене висело зеркало. В нем отражалось его лицо — простое, мужицкое, с широким носом и густыми бровями; только волнистая прядь волос, упавшая на белый лоб, да растерянная улыбка пе-

редавали сложное чувство радостной неловкости от близости сестры. Ему вдруг стало стыдно видеть свои обнаженные руки, живот. Когда пальцы сестры пробежали по его груди, Суржин задохнулся и попросил:

— Не надо... С этим я справлюсь сам.

Клавдия Павловна на мгновение разогнулась, но сейчас же с легкой гримасой стиснула зубы и поспешно обнажила его ноги.

Суржин закрыл глаза и попросил:

— Вы уж как-нибудь... поудобнее...

Входя в ванну, он невольно взялся за плечо сестры. Чужое тепло обожгло ему ресницы, и в это мгновение ему почему-то подумалось, что Клавдия Павловна, как и он, любит кого-то преданно и нежно, но любовь приносит ей одни страдания.

Весь день сестра не выходила из его памяти. Он видел ее склоненную голову, завитки волос на узком и нежном затылке, только лицо Клавдии Павловны почему-то сливалось с лицом девушки у которой высокий, белый лоб и широко расставленные милые глаза...

После вечернего чая в комнате помутнело. Солнце затянула серая наволочь, и хорошо запахло близким дождем. В санатории стало необычно тихо. На Суржина пахнуло тем хорошим рабочим настроением, когда хочется, не замечая времени, писать, думать, двигаться по комнате, потом искренно удивиться тому, что день уж миновал.

Он принялся разбирать свои тетради по тактике, в которых между решениями задач попадались клочки записей из дневника. И было в этих записях столько сладостных отложений



прошлого, столько дерзаний и неосуществленных надежд, что Суржин смеялся и по давней привычке часто брался обеими руками за голову.

Читая записи, Суржин слышал доносившийся из двери в коридор однообразный гул двух голосов, часто переходивших на шопот. Вначале он заставлял себя не слушать, но потом, когда понял, что одна из говоривших была мать, он уже не мог отвлечь себя от этого разговора, старался не пропустить ни слова.

Собеседницей матери была та самая пожилая, полная няня, с которой беседовала мать, ожидая встречи с ним. Няня была родом из Тульской области; она с трогательной настойчивостью искала среди больных земляков, помогала им, чем могла, и готова была без конца слушать речь родных мест.

— Вот я и гадаю,— медленно говорила мать.— Молодой человек не может обойтись без женщины, если он в полном здравии. А раз человек не интересуется этим делом, значит, тут хорошего чуть.

— Это уж правда истинная. Да-да...

— Вот я и помянула про Аннушку. Что, мол, он на это скажет?

— И попала?

— В самый раз!

— И-и!

— Совсем другой взгляд стал. Даже Клавдия эта, и та смутилась.

«Ах, чорт возьми!» — Суржин до боли сжал кулак и вскинул его над головой. Но сейчас же рука его вяло упала на колено.

После длинного шопота мать громко сказала:

— С тем и сюда ехала. Ну-ка, мол, оплошает тут парень мой? Потеряет всякий интерес к делу, загрустит, и будет в нем одна оболочка. Поеду, мол, дальний путь не велик страх, хуже терять сына.

— Детки — они конфетки, небушко дерет, а все сладко,—с удовольствием ответила няня.

— Ну, а как же! И вот гляжу я, на столике письмо. Лежит письмо, а мне и запало в голову — почитать. Ну, и прочитала.

— Прочитала! И-и!

— Товарищам своим пишет, на Дальний этот на Восток. Пишет, что, мол, хотя я и не совсем здоров, а хочу приниматься за дела. Без вас и без своего дела мне тут смерть. Если ноги мои не позволят мне в строю быть, то буду хоть молодых бойцов в школе учить. В коляске своей ездить буду...

Голос матери дрогнул. Слышно было, она за-сморкалась.

В окно ворвался протяжный рев парохода и сейчас же где-то в горах жалобно зазвонили в сигнальный колокол. Потом послышался короткий смех, обрывок песни...

Мать вошла в комнату. И тут только Суржин заметил, что давно уже наступил вечер, и лицо матери в сумерках было неразлично.

— Что же без огня сидишь?

— Зажги сама.

При свете мысли приобрели ясность. Твердо глядя в лицо матери, Суржин спросил:

— Ты говорила, что рукописное еще не разбираешь?

Мать выдержала его взгляд и, явно догадавшись, почему он спросил ее об этом, ответила:

— Когда очень надо, разберу и письменное. Она с минуту постояла в раме балконной двери, потом резко повернулась к Суржину:

— Ну, мне надо завтра ко дворам. Нагости-лась.

— Почему завтра? Побыла бы.

— Дома дела есть. Там Иван скоро в отпуск хотел пойти. Надо доглядеть — не начертил бы с пьяных глаз. Опять же и Вера ходит вот-вот. Роды первые, без меня ей страшно. Митюшка, муж ее, обмирает по ней, а пугливый какой-то. Все меня просил не задерживаться. Видишь, оно и некогда прохлаждаться-то.

— Мне ты нужна еще, — тихо сказал Суржин.

И снова мать удивила его своей способностью читать его мысли.

— Ты не хитри с матерью, Сережа. Хочешь знать, что я о тебе думаю, так говори прямо. Мои дела у тебя кончились. Вот поправишься, уедешь на свое место, и мать опять годами жди писем, опять ходи на околицу, к горемычной ветелке, и жди весточку.

Суржин опустил голову и, чтобы скрыть неловкость, спросил:

— Билет не заказывала? С этим делом тут не просто...

— Билет мне достали. Бери хоть два, вот как проводить меня рады, — пошутила она.

А Суржину подумалось, что мать заранее наметила день отъезда и купила билет сама.

Утром Суржин достал из-под подушки бумажник и, пряча от матери глаза, спросил ее:

— Деньги-то тебе нужны?

Мать улыбнулась:

— Кому же теперь деньги лишние? Вот только бумажник держи подальше. Себе для верности и людям от соблазна.

Суржин неловко подал ей скомканные бумажки.

Мать долго считала их, сидя в уголку, на стуле словно восстанавливала в памяти перечень семейных нужд, потом разложила по кучкам, завязала в разные узелки и рассовала по карманам и карманчикам.

Прощаясь, она поцеловала сына и, взяв свой суровый мешок, загремела полусапожками по гулкому коридору.

Скоро мимо санатория пробежал автобус. Суржин стоял на балконе, с силой напирая плечами на костыли. Платок матери он увидел рядом с головой шофера.

Он с удовольствием подумал, что скоро этим же путем поедет и он, впереди его ждет деревня, глубокая долина и продолжение разговора, который оборвался шесть лет тому назад.

Он помахал рукой вслед автобусу, хорошо зная, что теперь мать уж не оглянется.

Малеевка—Москва. Май—август, 1939,

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Братья . . . . .	3
Дом на горе . . . . .	36
Чужой век . . . . .	90
Дорога в город . . . . .	129
Счастье . . . . .	161
Сергей Дымов . . . . .	191
Мать . . . . .	220

---



